

ЮРИЙ

ПОЛЯКОВ

ФАНТОМНЫЕ БЫЛИ



Любовь в эпоху перемен

Юрий Поляков

Фантомные были

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Поляков Ю. М.

Фантомные были / Ю. М. Поляков — «АСТ», 2017 — (Любовь в эпоху перемен)

ISBN 978-5-17-105522-6

Новая книга Юрия Полякова — это еще один подарок всем ценителям его прозы. «Фантомные были», как уверяет сам автор, — своего рода «извлеченная проза», которую он предлагает любителям хорошей литературы. Читателя, как всегда, ждет встреча с остросюжетными коллизиями, яркими парадоксальными героями, изящной эротикой, тонким юмором, образным и афористичным языком от любимого автора.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-105522-6

© Поляков Ю. М., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

От автора	6
1. Что такое автоплагиат?	6
2. Партбилет звезды	8
3. Погорелец	10
4. Как я выковыривал...	13
Первая часть	15
Три позы Казановы	15
«Сигнатюр»	17
«Уж замуж невтерпех»	22
Найти зверя!	24
Афганская дубленка	26
Уроки английского	32
Белла	39
Запах мужчины	43
Первая женщина	45
1. Опоздание	45
2. Здравствуй, лагерь!	48
3. Вожатский костер	49
4. Одинокий Бизон	53
5. Михаил Николаевич	56
6. Судьба	58
Скифский взгляд	60
1. Расточение тьмы	60
2. Влюбленная пионерка	62
3. Суровая мама	65
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Юрий Михайлович Поляков

Фантомные были

Роман

Издан в новой авторской редакции

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Поляков Ю.М.

© ООО «Издательство АСТ», 2017

От автора

Извлечённая проза

1. Что такое автоплагиат?

Повести и рассказы, которые вам предстоит прочесть, можно было бы назвать «плагиатом», если бы автор не позаимствовал эти тексты... у себя самого. Да, так бывает, но чрезвычайно редко, чаще заимствуют у классиков или коллег по перу. Во времена моей литературной молодости это называлось «коммунальным творчеством» и подвергалось насмешкам профессионального сообщества, а иногда вело к скандалам. Помню, поэт Александр Юдахин, решивший назвать новую книгу «Перелетные листья», вдруг обнаружил именно это словосочетание в стихах молодого поэта. Отчаянию его не было предела, а поскольку конкурирующий автор работал редактором в том самом издательстве, где готовился к печати сборник Юдахина, то мнительный пиит объявил: это не случайное совпадение, а самый настоящий плагиат. Вот шуму-то было!

Нынче не так... Большинство из тех, кто вступает в литературу, не читают не только своих сверстников и старших товарищей, но и классиков. Они очень удивляются, узнав, например, что названия «Обрыв», «Крылья», «Дом у дороги» в отечественной литературе встречались, а разочарованная в любви дама под поезд уже бросалась. Что и говорить: самый малоизвестный рассказ Бунина отличается от романа, попавшего в короткий список Букера, так же, как Аполлон от гамадрила. Нет, я не о том, чтобы встать вровень с гигантами, я об элементарном владении ремеслом. Забыта простая истина: писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают. Но что делать, мы живем в эпоху интертекстуальности: «...а есть еще „Юрий Милославский“, так тот уж мой». Мнение премиального жюри волнует сочинителя куда больше, чем мнение читателей и коллег. Впрочем, одного из таких переимчивых авторов я однажды, не удержавшись, спросил: «Зачем же вы, коллега, так уж буквально „переперли“ сюжет моей повести „Работа над ошибками“ для производства, мягко говоря, своего текста о школе? „Клянусь, я не читал вашей повести!“», – глядя честными, как новенькие рублевые монетки, глазами, ответил он. И ведь не соврал, так как видел лишь фильм, снятый по этой повести режиссером Андреем Бенкендорфом, который подробно воспроизвел мою фабулу. Кстати, он потомок того самого Бенкендорфа.

Тут мы сталкиваемся с важной особенностью нынешнего литературного процесса. Современный автор с головой погружен в виртуальный информационный поток, который он часто воспринимает как реальную жизнь. Недавно я разговаривал со знакомым прозаиком, тот возмущался: «Это безобразие... Там такое было!» – «Где?» – «На митинге оппозиции!» – «Ты там был?» – «Нет, но видел фотографии и комменты в Интернете...» Знаете, ночь любви с обворожительной женщиной и эротический фильм на сон грядущий – вещи все-таки разные. Другой начинающий прозаик показал мне свой роман, где события разворачиваются в мире телевизионщиков. «А вы работали на телевидении?» – «Нет. Но все и так знают, что там происходит...» Откуда? С таким же успехом можно заявить: «Я знаю, как делают операции...» – «Как?» – «Очень просто. Хирург протягивает руку в резиновой перчатке и говорит: „Скальпель!“ В кино показывали...»

Эта уверенность, что, увидав мимолетную информационную картинку, ты узнал жизнь с новой стороны, – трагедия нынешнего творящего сообщества. Конечно, писатели всегда жили под влиянием политических раскладов, творческой атмосферы своего времени, внутри какого-то большого стиля, в тени гигантов жанра. Когда крестьянский юноша Есенин писал про то,

как «кленёночек маленький матке зеленое вымя сосет», – он одной своей ногой, лапотной, стоял на почве родной Рязанщины. Но другой-то, обутой в лаковые башмаки с гамашами, упирался в имажинистскую метафорику, покорившую в ту пору русскую поэзию и попавшую в журналы, которые читал мой грамотный земляк. Однако еще никогда пишущего человека не окружала такая, как сегодня, непроглядная клубящаяся стена из моментальных информационных мифов, скоропортящихся художественных открытий, «сфотошопленных реальностей»... Художественный образ извлекается не из собственного жизненного, духовного, нравственного опыта, а из виртуально-информационного полуфабриката. Этот феномен меня заинтересовал, и некоторое количество вставных новелл в «Гипсовом трубаче» как раз и представляют собой примеры добычи литературы из вербальных отходов времени.

Но я заворчался и отвлекся. Итак, рассказы и повести, которые вы держите в руках, извлечены из романа, где они были тем, что литературоведы называют «вставными новеллами». Если выражаться совсем точно, то их правильнее теперь было бы называть «выставными», или «выставленными» новеллами. Но слово «выставить» в русском языке имеет много значений: выставить стекло, выставить картину, выставить ученика из класса, выставить локоть, выставить оценки, выставить на стол угощения... Пришлось воспользоваться словом «извлечённые».

Я люблю в прозе вставные сюжеты. Отдавали должное этому композиционному приему и наши классики. Вспомните хотя бы «Капитана Копейкина» в «Мертвых душах», «Легенду о Великом инквизиторе» в «Братьях Карамазовых». Кстати, «Мастер и Маргарита» – это, по сути, три новеллы, вставленные одна в другую. Во всех моих романах и повестях, начиная с «Апофегея», непременно есть вставные сюжеты, но в иронической эпопее «Гипсовый трубач» они занимают особое место. Во-первых, их много – едва не треть всего романа. Во-вторых, по жанру они сильно отличаются друг от друга: есть миниатюры, есть рассказы, есть и целые вставные повести. В-третьих, они по разному встроены в композицию: некоторые стоят обособленно и компактно, вторые я подаю читателям не сразу, а как бы «с продолжением», наконец, есть и такие, что буквально «размазаны» по всему обширному тексту. В-четвертых, вставные новеллы у меня активно участвуют в сложении сюжета. В-пятых, их авторство формально принадлежит не мне, а режиссеру Жарынину, литератору Кокотову, ищущей женщине Обояровой, старому правдисту Ивану Болту...

2. Партбилет звезды

Впрочем, придумал-то этих людей все-таки я – писатель Юрий Поляков. О том, почему мне пришло в голову сделать пружиной романного сюжета процесс сочинения соавторами сценария фильма, я подробно рассказал в эссе «Как я ваял „Гипсового трубача“». Оно вошло в книгу «По ту сторону вдохновения». Напомню: Жарынин и Кокотов приехали писать сценарий в дом ветеранов культуры «Ипокренино», в этакий блоковский «Соловьиный сад», а попали в самую гущу криминально-любовных страстей. Работа соавторов, постоянно отвлекаемых житейскими заморочками, застопорилась на «разговорном» этапе, который по мне самый интересный в творческом процессе: люди выпивают, рассказывают друг другу разные истории из жизни или делятся мечтами и фантазиями. Лишь потом из необязательной, на первый взгляд, креативной болтовни выкристаллизовывается сам сценарий. Или не выкристаллизовывается. Я не раз и не два работал в соавторстве и знаю, о чем говорю. Как это происходит? А вот так...

Однажды мы решили написать сценарий с одним известным актером и режиссером. Сидели, мучились, обдумывали сложный сюжетный поворот и никак не могли найти свежий ход. На тумбочке тем временем работал без звука телевизор, и экран показывал самолет, приземлившийся в аэропорту Симферополя. Вдруг мой соавтор, туманно улынувшись, сказал:

– А вы знаете, Юра, в этом аэропорту со мной случилась занятная история.

– Расскажите!

– Ну, ладно, так уж и быть. Слушайте! Молодым актером снимался я в глупейшем советском фильме на Ялтинской киностудии. Зато партнершей моей оказалась звезда, знаменитая прибалтийская актриса, назовем ее Руткой Яновной. Она была лауреатом всех премий и, кажется, в ту пору депутатом Верховного Совета СССР. Хороша необыкновенно, правда, не первой молодости. Но кто считает морщины на лице звезды, тем более под гримом! Как это бывает иногда на съемочной площадке, между нами проскочила какая-то искра, во всяком случае, после удачного дубля мне показалось, что звезда глянула на меня с какой-то многообещающей приязнью. Ничего удивительного: короткие бурные увлечения и даже долгие романы, перетекающие в брак, на съемочной площадке не редкость. Если когда-нибудь женитесь на актрисе, не позволяйте ей в кадре целоваться и постельничать. Затягивает! Но проверить свое ощущение я не смог, хотя в ту пору был молод, горяч, красив – редкая кокетливая мосфильмовская юбка уходила от меня не разоблаченной. Но тут, как назло, очень плотный график съемок, все друг у друга на глазах, а к вечеру сил остается только поесть и завалиться в койку. К тому же я сомневался: вдруг мне показалось? Постучишься ночью в дверь люкса и получишь в лицо смех, холодный, как ее родное Балтийское море. Я, знаете ли, не решился: все-таки депутат Верховного Совета, не примерша какая-нибудь.

В общем, съемки закончились, группа приехала в аэропорт города Симферополя, зарегистрировалась и двинулась на посадку. А когда выходили из автобуса, Рута Яновна своим мягким голосом с протяжным акцентом попросила:

– Витенька, возьмите мою сумку, если вас это не затруднит...

– Конечно, Рута Яновна, – с готовностью подхватил я довольно тяжелую ручную кладь, еще ничего не понимая.

Уже на трапе звезда вдруг остановилась и ахнула:

– Боже, я, кажется, забыла в номере партийный билет!

– Ничего, мы сейчас пошлем кого-нибудь за ним! – успокоил директор картины, которому по должности приходилось разруливать и не такие накладки.

– Антон Маркович, что вы такое говорите! – начала сердиться народная артистка. – Я не могу кому-нибудь доверить мой партийный билет. К тому же я не помню, куда его положила... Нет, надо вернуться в гостиницу...

– Рута Яновна, голубушка, – взмолился директор, – вы не успеете. Посадка заканчивается!

– Ничего. Полечу следующим рейсом.

– Но следующий – завтра!

– Значит, я полечу завтра. Переночую в гостинице. В чем проблема? Поменяйте билеты, перебронируйте номер!

– Но это не входит в смету...

– Что? Ах, вот как... Вычтите из моих съемочных... – Она царственно повернулась и стала величаво спускаться по трапу.

Пассажиры, узнавая актрису, почтительно расступались. Уже сойдя на плиты взлетной полосы, звезда вдруг спохватилась, отыскала меня глазами и растерянно воскликнула со своим неповторимым балтийским акцентом:

– Витенька, а как же моя сумка?

Я вопросительно посмотрел на директора.

– Иди к ней! Бегом!

– Но посадка заканчивается, Антон Маркович!

– Все беру на себя! От нее ни на шаг. Возьмешь такси. Отвечаешь головой. Прилетишь тоже завтра. Все оплачу. Премию выпишу! Бегом! Нет, вы меня все-таки подведете под статью...

Я догнал народную артистку. Мы вернулись в отель. Всю дорогу от Симферополя до ялтинской «Ореанды» она волновалась, что никак не вспомнит, куда положила партбилет.

– Витя, вы представляете, что начнется, если я его не найду... У меня столько врагов и завистниц!

Первое, что я спросил, когда мы вошли в ее люкс, куда еще никого не успели поселить:

– Вспомнили, Рута Яновна?

– Конечно! – Она лукаво улыбнулась и достала красную книжицу из лаковой своей сумочки. – Не теряй времени, дурачок, а то выключат горячую воду.

Дело в том, что в Крыму в сезон горячую воду давали три раза в день: утром, в обед и вечером. А тут как раз утомленное бронзовое солнце садилось за горы. Опускался теплый пряный южный вечер. Звенели цикады, и веяло цветущими магнолиями. Ну, а далее, как писали в романах девятнадцатого века, набросим покрывало скромности на то, что случилось дальше и продолжалось до рассвета. Одно я вам заявляю официально, слухи о холодности балтийских дам – это злостная клевета невежд. Утром мы отбыли в Москву, а там Рута Яновна пересела на другой самолет и перенеслась в свою родную Колывань. Потом мы не раз встречались на фестивалях, съездах кинематографистов, телевизионных посиделках, даже как-то попали с ней в одну загранпоездку, но она никогда ничем, ни взглядом, ни движением, ни мимолетной улыбкой, не напомнила мне о том, как мы до утра искали в номере ялтинского люкса ее партбилет. Великая была женщина. Во всех смыслах! Ну, Юра, вы придумали сюжетный ход?

– Нет еще...

– Тогда расскажите мне что-нибудь!

– Даже не знаю...

– Как это не знаете? Вспоминайте! Учитесь работать в соавторстве!

3. Погорелец

В это время с улицы донесся усиленный громкоговорителем суровый голос блюстителя дорожного движения: «Водитель автомобиля государственный номер Ж 45–18 МО, немедленно прекратите движение!» Мы вышли на лоджию и увидели, как желто-синяя милицейская машина гонится за удирающей серебристой иномаркой.

– Уйдет! – предположил я.

– При выезде на Минку перехватят. Там будка и пост, – со знанием дела возразил мой соавтор.

– А хотите историю про гаишников? – спросил я. – Только что вспомнил!

– Валяйте!

– Весной восемьдесят шестого я купил первую машину, ВАЗ двадцать один тринадцать, белого, как советский холодильник, цвета. Мы как раз с классиком советского кино Евгением Габриловичем сидели в Доме ветеранов кино на Нежинской улице и писали для актрисы Ирины Муравьевой сценарий «Неуправляемая», который потом запретили за непонимание текущего момента. (Об этом подробно рассказано в эссе «Как я был врагом Перестройки», также вошедшем в сборник «По ту сторону вдохновения».) Матвеевское в ту пору было тихим районом с вялым движением транспорта, и я, начинающий водитель, долго наматывал круги по пустым улицам, не решаясь выезжать на оживленные трассы. А когда впервые решился и встал в пробке перед Смоленской площадью, то едва не заплакал от ужаса: казалось, огромные самосвалы и автобусы вот-вот затрут мой «жигуленок», как айсберги кораблик. Но ничего, выбрался... Постепенно я освоился, почувствовал себя увереннее, а к зиме и вообще распоясался, обрел ту лихость, которая плохо обычно заканчивается...

И вот, спускаясь по Гоголевскому бульвару к Волхонке, я встал на красный перед Кропоткинской улицей, почти уткнувшись капотом в стойку светофора. Ждал, слушая по приемнику концерт по заявкам и наблюдая, как над открытым бассейном «Москва» клубится густой белый пар. Когда впереди вдруг зажегся зеленый, я спокойно двинулся дальше через Кропоткинскую площадь к набережной. Вдруг послышалась милицейская трель, и ко мне, размахивая полосатым жезлом, кинулся толстый гаишник, перетянутый портупеей, как подушка, приготовленная к переезду. (Кстати, это неожиданное сравнение пришло мне в голову именно тогда, а использовал я его лишь спустя без малого тридцать лет в романе «Любовь в эпоху перемен». Так у писателей тоже бывает.)

Старший лейтенант постучал жезлом по капоту, мол, выходи из машины – приехали. Я повиновался, зная, что гаишники не любят, когда с ними говорят через окошко.

– Ослепли, водитель?

– А что такое?

– На красный свет поехали. Документы...

– Нет, на зеленый... – Я показал на светофор, установленный перед Метростроевской улицей, и сам сразу понял свою ошибку. – Не туда посмотрел... Виноват!

– Виноват – накажем. Пройдемте! – поманил меня толстый гаишник, забрал права, раскрыл книжицу, обнаружил девственный талон предупреждений и обрадовался чему-то своему. – Целочка!

Он повел меня в свою будку, торчавшую на углу Волхонки и Соймоновского проезда. В Москве тогда таких было много. Называли их в зависимости от формы – «стаканами» или «скворечниками». Мой угнетатель сидел в «стеклянном скворечнике», который на высокой бетонной ножке вознесся над проезжей частью. Подняться туда можно было по скобяным ступенькам, напоминающим пожарную лестницу. Сверху гаишник наблюдал жизнь перекрестка, мог перевести светофоры в ручное управление, а иногда и спускался вниз по карательным

и прочим надобностям. Кстати, вскарабкался наверх он довольно ловко для своего избыточного веса. Я же, наоборот, еле залез. Внутри было тесно, как в кабине «Запорожца», по бокам узкие сиденья, посередине столик, похожий на купейный, под ним обогреватель с раскаленными тэнами, чтобы не задубеть зимой. А январь в тот год выдался морозный.

– Торопитесь? – спросил старший лейтенант, наслаждаясь моей нервозностью.

– Тороплюсь.

– Внимательней надо быть. – Он усадил меня и стал неторопливо заполнять протокол, вздыхая и явно намекая, что можно договориться, разойдясь по-хорошему.

Я бы и рад разойтись, но, будучи начинающим автолюбителем, еще ни разу не попадал в такую ситуацию, даже не знал, как подступиться к гаишнику. Соображая, я наблюдал, как из дымящейся воды бассейна выглядывала то розовая рука, то голова в белой шапочке. Допустим, вынимаю я три, пять или даже десять рублей, а он и говорит: «Юрий Михайлович, и не стыдно вам, члену КПСС, лауреату премии Ленинского комсомола за разоблачительную повесть „ЧП районного масштаба“, таким глупостями заниматься?»

– За три рубля он точно так и сказал бы, – авторитетно согласился мой соавтор. – Все-таки поехать на красный свет – дело нешуточное. За пятерку не уверен... Тут все зависит от личной порядочности. А десятку взял бы, не пикнув.

– Но я же тогда этого не знал... В первый раз попался. В общем, такая же ситуация, как с вашей Руткой Яновной...

– Да, чем-то напоминает...

Несколько раз выразив толстым красным лицом готовность к взаимопониманию и не получив ответа, гаишник решил, что со мной не договориться, и сварливо объявил:

– Значит, так, права я ваши забираю! Давайте!

– Я же вам их отдал... – чуть не заплакал я: вызволять документы из ГАИ – это целая история, целый день в очереди простоишь.

– Ничего вы мне не отдали... – Он стал шарить по столу. – Нет тут ничего...

– Вы же еще на улице у меня забрали.

– Вы что-то, гражданин, путаете...

И тут запахло горелым... Старший лейтенант, преодолевая живот, нагнулся, заглянул под стол, охнул и едва успел сорвать с раскаленной решетки обогревателя мои красные права – уголок уже горел синим пламенем. Он торопливо потушил, обдул, расстроился:

– Извини, дурацкая конструкция, протоколы, было дело, палились, но чтобы права... Ничего – только кончик обгорел, можно не менять, под корочки спрячешь. Ладно, иди! – и он, примирительно отдав мне документы, порвал протокол. – Извини...те...

Я вышел на улицу и вдохнул снежный воздух свободы...

– История неплохая, но незатейливая, без хода... – снисходительно молвил соавтор.

– Так это только первая серия.

– Продолжайте!

Прошло лет семь-восемь. И я уже на первой своей подержанной иномарке совершил ту же самую ошибку, причем в том же самом месте. Правда, Кропоткинская улица теперь называлась Пречистенкой, Метростроевская – Остоженкой, а выехал я, перепутав светофоры, на площадь Пречистенских ворот. Да и на месте бассейна теперь виднелся лишь огромный лунный кратер, где орудовали, лязгая, экскаваторы. И вы не поверите – остановил меня тот же самый гаишник, который еще сильнее растолстел и стал капитаном.

– Проезд на красный свет – очень серьезное нарушение, – покачал он головой, принимая документы. – Даже и не знаю, что мне с вами делать...

При этих словах мне показалось, что карман на шинели гаишника как-то сам собой оттопырился в ожидании вложения. Я был к тому времени уже матерым автолюбителем, и если

бы меня остановил незнакомый инспектор, без слов отправил бы купюры по назначению, но я медлил и с радостью неожиданной встречи смотрел на старого знакомого.

– Вы что улыбаетесь-то? Ничего смешного. Будем оформлять...

– А вы меня не помните?

– Нет. Знаете, сколько я нарушителей за день останавливаю.

– Догадываюсь.

– А что, мы с вами уже что-то... э-э-э... оформляли? – осторожно уточнил он.

– Да, много лет назад вы меня уже останавливали здесь за такое же точно нарушение.

– И что? – опасливо спросил капитан.

– И чуть не сожгли мне права на обогревателе! – Я в доказательство снял корочку и предъявил обгоревший угол.

– Точно! Так это вы?! То-то, смотрю, лицо знакомое. Как же, помню! Мы как с мужиками после дежурства выпьем по чуть-чуть, я часто это ваш случай рассказываю. Протоколы, конечно, горели, но чтобы права... Ладно, езжай, погорелец, и поаккуратнее...

– Спасибо! Удачи!

– Эх, какая там удача! Видал, какие у нас тут дела! – Он показал полосатым жезлом на развороченный лунный пейзаж, оставшийся от бассейна. – Скоро, чую, и мой скворечник снесут...

– И куда ж вы?

– Родина в беде не оставит...

Я сел в машину и повернул на Волхонку: будка на фоне котлована в самом деле выглядела как уходящая натура – так в кино называют, к примеру, дерево, которое необходимо срочно снять на пленку прежде, чем оно облетит.

– Неплохо, – кивнул соавтор, – но концовочка все-таки слабовата.

– Так будет еще и третья серия!

– Неужели?

...Прошло еще лет шесть-семь, и я на новой «Хонде» рассекал по Остоженке, намереваясь свернуть на Соймоновский проезд и далее – на Пречистенскую набережную. Впереди поднималась златоверхая громада недавно законченного храма Христа Спасителя. Он был такой новенький, такой свежий, что, казалось, с него только-только сняли обертку и розовые ленточки. Засмотревшись, я совершил оплошность: повернул из среднего ряда, а положено по разметке из крайнего правого. Нарушение пустяковое, но тут же раздалась трель, и ко мне поспешил, размахивая жезлом, высокий тощий лейтенант. Я вышел, отдал честь и документы, включая крохотное, запаянное в пленку водительское удостоверение размером с визитную карточку. Прогресс!

– Ну что же вы так... Нехорошо... – посетовал лейтенант знакомым тоном, предполагающим взаимное понимание. – Даже не знаю, что мне с вами делать...

– А тут раньше такой толстый капитан стоял? – как бы невзначай спросил я.

– Никифoryч?

– Вроде Никифoryч...

– Он теперь майор. В управлении бумажки перекладывает. К пенсии готовится. А вы-то его откуда знаете?

– А он мне однажды на тэнах в скворечнике чуть права не сжег! Смешная история...

– Так это вы! – воскликнул лейтенант и посмотрел на меня с радостным изумлением. – Никифoryч всегда, если выпьет, рассказывал, как одному чмошнику... извините, водителю чуть права не сжег. Вот, значит, вы какой! Ну, ладно, раз такое дело – езжайте и повнимательнее...

Больше я в этом заколдованном месте правил не нарушал.

– Вот теперь совсем другое дело! – похвалил мой соавтор.

4. Как я выковыривал...

Я нарочно привел в предисловии две эти истории, которые тоже могли бы войти в роман «Гипсовый трубач», но как-то не вставились. Согласитесь, если бы вы встретили их в сборнике рассказов, то вполне могли бы принять за самостоятельные новеллы, хотя в этом вступительном эссе они выполняют вспомогательную роль, демонстрируя одну из форм, точнее, фаз соавторства. В моей же иронической эпопее вставные сюжеты выполняют множество разных функций: раскрывают взгляды и опыт героев, формируют фабульное движение, втягивают в него временные пласты и различные судьбы, что придает прозе качество, которое называют чаще всего «полифоничностью». Впрочем, мне больше нравится слово «многомерность», а еще лучше «многомирность». Но главное: во вставных сюжетах я предлагаю читателям разные формы «мимесиса», так в литературоведении называется «подражание» искусства действительности – от скорбного копирования до горячечных фантазмагорий и пародийного обезьянничанья. А кто является Божьей обезьяной, мы с вами, увы, знаем...

Некоторые истории в романе предлагаются в «законченном» виде, другие зачинаются, придумываются, выстраиваются, редактируются прямо на глазах читателя, имитируя, а то и буквально воспроизводя сам творческий процесс. Собственно, я и написал роман затем, чтобы понять самому и показать другим, как из подлинной жизни, виртуального полуфабриката, а то и просто из чужих произведений делают искусство или то, что именуют «искусством». Кстати, кино у нас давным-давно делают из кино, а не из жизни. Не случайно в романе столько сюжетов, пародирующих киноповести, сценарии, синопсисы... Надеюсь со временем за эти мои приношения на алтарь Синемопы стану лауреатом какого-нибудь «Кинозавра».

Увы, иные книголюбы, даже мои поклонники, не поняли авторской сверхзадачи и роман не приняли. «Вернитесь в реализм, умоляю!» – ломала руки давняя моя читательница. Да я и не уходил никуда! Реализм – тело искусства, другого нет и не будет, а какое платье, от какого Кардена на него напялили и каким очередным «измом» обозвали – вопрос десятый. Но те читатели, которые поняли, на что замахнулся автор, они, судя по письмам, отзывам, высказываниям на читательских конференциях, горячо приняли мою ироническую эпопею и оценили. Несколько переизданий романа – тому подтверждение.

Однако у меня всегда было ощущение, что вставные новеллы «Гипсового трубача» – это не просто некие контрфорсы романного здания, закамуфлированные под «атлантов» и «кариатид», но еще и самостоятельные прозаические «пиесы», как говаривали в старину. Первым идею вычленив их из текста, скомпоновать в сборник и выпустить отдельной книгой мне подал один умный критик. Он сказал примерно так: «Знаешь, Юра, эти твои вставки напоминают самоцветные камешки в окладе. Все вместе они образуют сложный узор, изображение, дополняют и оттеняют друг друга, но так порой и хочется выковырять каждый из гнезда, покатав в руках и посмотреть через них на свет...» Оставляю похвалу на совести моего «аристарха» – так когда-то называли добрых критиков, а злых соответственно – «зоилами». Однако автору доброе слово, как и кошке, всегда приятно. В подтверждение своих мыслей критик даже напомнил мне литературный прецедент: Борис Лавренев в 1920-е писал огромный роман о революции и Гражданской войне, куда в виде глав входили знаменитые впоследствии новеллы, такие как «Сорок первый», публиковавшиеся потом как отдельные рассказы и повести.

Идея запала в душу. Поначалу мне казалось, «извлечение» произойдет легко и быстро. Как я ошибся! Да, некоторые сюжеты, к примеру «Песьи муки» или «Космическая плесень», в самом деле легко «вынимались» из гнезд: отогнул «лапки» и пожалуйста – разглядывай на свет. Но потом начались проблемы. Такие новеллы, как «Ошибка Пат Сэллендж» или «Голая прокурорша», пришлось буквально «выковыривать» из текста, причем из разных глав. И совсем уж тяжело обстояли дела с «Любовником из косметички» или «Скифским взглядом», ведь эти

истории рассказываются персонами в режиме прямого времени, иной раз в нескольких версиях, наползающих друг на друга в стремлении к совершенству. Борьба хорошего с лучшим – штука опасная, а если очень долго и старательно точить нож, в конце концов у тебя останется одна ручка. Как тут быть? Я решил сохранить сказовую манеру, частично оставил даже комментирующие диалоги героев, охваченных вдохновением. Мимесис так мимесис! Впрочем, историю четырех братьев-поляков Болтянских, буквально размазанную по всему обширному роману, я так и не смог «выковырять» из дюжины глав и свести воедино, поэтому-то она, наряду с другими вставными новеллами, не вошла в «Фантомные были»...

Но не беда: тот, кто читал «Гипсового трубача», наверняка – и так помнит сюжеты, не включенные в этот сборник. А того, кто захочет, прочтя эту книгу, взять в руки всю мою (предупреждаю – увесистую) ироническую эпопею, ждут интересные открытия. Можно будет увидеть, как истории, знакомые по отдельности, складываются в единый романный узор, в качественно иное произведение. Кстати, если такое желание у кого-то появится, рекомендую воспользоваться изданием «Гипсового трубача» (АСТ, 2014 года) с красивой медной трубой на обложке. Оно не только «серьезно исправлено и смешно дополнено», но в конце книги помещено мое обширное эссе «Как я ваял „Гипсового трубача“».

В заключение осталось добавить: учитывая тематические, жанровые и стилистические особенности «извлеченных» повестей и рассказов, я разделил эту книгу на четыре части: «Томные аллеи», «Бахрома жизни», «Алтарь Синемопы» и «Фантомные были». Последнее словосочетание пришло мне в голову, когда я уже готовил сборник, и оно показалось довольно-таки точным определением самой сути художественного творчества, в нашем случае – литературы, которая и есть придуманная правда, о чем я не раз уже писал и говорил. Если же вас в искусстве больше интересуют фантомные небылицы, то с этим вопросом обращайтесь, пожалуйста, не ко мне, а в жюри «Русского Букера»...

*Юрий Поляков,
Переделкино, июнь 2017*

Первая часть Томные аллеи

Три позы Казановы

Когда-то в молодости я занимался творчеством Валерия Брюсова и нашел в его рукописях набросок про кавалергарда Жоржа Гурского, прославленного ловеласа Серебряного века. Заинтересовавшись, я стал расспрашивать о нем старушек, приходивших на литературные посиделки в музей Брюсова, что на Большой Мещанской, и по их уклончиво-нежным ответам понял: Жорж оставил в душах и телах современниц неизгладимый след. Удалось выяснить, что он, чудом уцелев в огне Гражданской войны, не уехал из Красной России, женился на комсомолке, трудился в заготовительной кооперации и превратился с годами в скромного советского пенсионера. А умирая, ветхий кавалергард решил по наследству передать внуку Вениамину страшную сексуальную тайну, которую получил в свою очередь от везучего предка, выигравшего пикантный секрет в карты у самого Казановы. Об этом много шептались тогда в свете, и отголоски пересудов можно найти, если вчитаться, даже в ахматовской «Поэме без героя», не говоря уж о брюсовском «Огненном ангеле». Есть версия, что и Пушкин использовал историю Жоржа Гурского в своей «Пиковой даме», переместив, так сказать, сюжет с батистовых простыней алькова на зеленое карточное сукно.

А Веня, скажу я вам, был редким рохлей, занудой и раздолбаем. В общем, троечником. Между тем суть тайны заключалась вот в чем: Казанова знал три сексуальные позы, которые при строго определенном чередовании ввергали женщину в неземное блаженство и навсегда привязывали к мужчине, буквально – порабощали. По секрету доносили: когда кавалергард отправлялся со своим полком на германский фронт, толпы безутешных красавиц, рыдая, стелая, ломая руки и теряя бриллианты, бежали по шпалам за воинским эшелоном почти до Можайска...

Умирая, склеротический старик успел сообщить внуку только две позы и отошел в лучший мир. Похоронив деда, Веня впал в отчаяние. Он был безнадежно влюблен в неприступную, как сопромат, однокурсницу Веру, не обращавшую на невзрачного троечника никакого внимания. Чтобы отвлечься от горьких мыслей, Веня решил самостоятельно разгадать недостающий элемент тайного трехчлена Казановы. Но как это сделать? Для начала студент купил за две стипендии на Кузнецком Мосту древний учебник любви «Цветок персика», тайно привезенный кем-то из-за границы. Книга была на английском языке – скрепя сердце парень сел за словари и грамматику. Некоторые позы, изображенные в иллюстрациях, оказались настолько хитросплетенными и гимнастическими, что воспроизвести их наш рохля не смог. Пришлось всерьез заняться физкультурой и даже спортом.

В трудах и тренировках прошло два года. Дальше предстояли практические занятия, но чтобы вовлечь какую-нибудь приятную женщину в предосудительный эксперимент, надо было для начала ей хотя бы понравиться. Ну в самом деле, ведь не подкатишь к милой незнакомке со словами: «Гражданочка, мой дед, старый хрыч, умирая, оставил мне две трети сексуальной тайны Казановы. Есть предложение: вместе и дружно...» В следующую минуту она в лучшем случае звонко бьет нахала по лицу, в худшем – зовет милиционера, а тот – психиатра. В итоге Веня был вынужден обратить пристальное внимание на свою внешность: стрижку, зубы, одежду, манеры. Он даже записался в школу бальных танцев и кружок прикладного этикета. Ну и, разумеется, вывел прыщи на лице с помощью настойки чистотела.

А тут как раз подоспел Московский фестиваль молодежи и студентов 1957 года, во время которого, как известно, целомудренное советское общество значительно раздвинуло свои эротические горизонты. Достаточно вспомнить бесчисленных разноцветных «детей фестиваля», родившихся девять месяцев спустя. Итак, со всех континентов в столицу первого в мире государства рабочих и крестьян слетелись тысячи красивых девушек всех, как говорится, цветов и фасонов. Именно этот праздник молодого духа и юной плоти как нельзя лучше подходил для разгадки тайны великого сластолюбца Казановы. Надо заметить, Веня хорошо подготовился и свой шанс упускать не собирался. Элегантный, спортивный, обходительный, свободно владеющий английским и французским, сорока пятью видами поцелуев и семьюдесятью двумя сексуальными позами, он сразу привлек внимание раскрепощенных иностранных дев. После первого же вечера интернациональной дружбы Веня ушел гулять по ночной Москве с французенкой алжирского происхождения Аннет, успев назначить на следующий день свидание Джоан, американке из Оклахома-Сити, штат Оклахома. А на послезавтра он сговорился с миниатюрной, как фарфоровая гейша, японочкой Тохито...

Однако не успел Вениамин уединиться с Аннет на укромной скамеечке Нескучного сада и подарить ей поцелуй, называющийся «Чайка, открывающая раковину моллюска», как двое крепких мужчин, одетых в модные, но совершенно одинаковые тенниски, подошли и попросили огоньку. Поскольку наш герой табаком не баловался, ему пришлось предъявить уполномоченным курильщикам студенческий билет и пройти с ними куда следует. Там наследнику Казановы разъяснили, что за попытку вовлечь иностранную подданную в интимные отношения ему грозят большие неприятности, вплоть до тюрьмы. Ведь именно так, в объятиях расхожих красоток, и вербуют легковверных советских граждан западные разведки. Но поскольку зайти далеко студент не успел, для первого раза органы ограничатся минимальным наказанием – письмом в институт.

Персональное дело несчастного Вени Гурского разбирали на закрытом комсомольском собрании. Поначалу все шло к исключению из рядов ВЛКСМ, а следовательно, к окончательной жизненной катастрофе. Оскорбленные однокурсники жаждали крови. Ишь ты! Тут пруд пруди своих нецелованных соратниц по борьбе за знания, а его, гада, на импорт потянуло! Однокурсники же озверели от зависти – ведь никто из них не отважился даже близко подойти к капиталистическим прелестницам. Декан факультета, в свое время так и не решившийся убежать от постылой жены к горячо любимой аспирантке, тоже, хмурясь, требовал самых суровых мер.

И вдруг, к всеобщему изумлению, за аморального юношу страстно вступилась строгая Вера, та самая отличница, в которую наш герой был безнадежно влюблен, покуда не впал в казановщину. Мудрая девица заявила, что исключить из рядов – значит расписаться в полной идейно-педагогической беспомощности коллектива, и высказала готовность взять оступившегося товарища на поруки. При этом она смотрела на Веню такими глазами, что он сразу понял: любим, и любим горячо! А как, в самом деле, не увлечься парнем – спортивным, подтянутым, обходительным, аккуратным, модно одетым, танцующим и свободно говорящим на двух языках? Разве много таких?

Взяв Веню на поруки, Вера его уже не выпустила. Вскоре молодые люди зарегистрировались в загсе, устроив в студенческом общежитии грандиозные танцы под патефон. Прошли годы. Обглоданный Советский Союз называется теперь Россией, а КГБ – ФСБ. Но Вениамин Сергеевич и Вера Михайловна до сих пор вместе, а судя по тому, как они смотрели друг на друга в свой золотой юбилей, именно с законной супругой счастливчику удалось-таки найти третью позу Казановы. Или не удалось... Разве это важно, когда любишь?

«Сигнатор»

Каждый год, в конце августа, а точнее, в последнее воскресенье месяца, Львов достает с антресолей корзину, резиновые сапоги, старый плащ и ветхую дерматиновую кепку, которую носил еще в студенчестве. С вечера готовит он себе и еду: три бутерброда, сложенные как бы в один, несколько сваренных вкрутую яиц, большой огурец домашней засолки, очищенную луковку и соль, насыпанную в бумажный кулечек. В термос Львов наливает крепкий чай с лимоном и без сахара: боится раннего диабета, погубившего отца. Потом ставит стрелку на четыре и, накапав в рюмку валерьянки, ложится спать...

Вскакивает он при первомдребезжании будильника и старается поскорей его прихлопнуть, но жена обычно все-таки вскидывается, и Львов, смущенно поймав на себе ее бессмысленный спросонья взгляд, тихонько встает и, неся тапочки в руках, прокрадывается через проходную комнату, где спят дочь с зятем, на кухню. Там он наскоро пьет растворимый кофе с овсяным печеньем, одевается и, тихонько щелкнув замком, покидает квартиру. На улице светло от фонарей. Львов, определив корзинку на сгиб локтя, быстрым шагом идет к платформе, что в двадцати минутах ходьбы от дома. Холодно, изо рта вьется парок: все-таки конец августа.

На станции, несмотря на ранний час, оживленно: толпятся люди, одетые с той же, что и Львов, страннической простотой и с обязательными корзинами в руках. Они высматривают мелькающий свет желанной электрички. Львов покупает билет до Ступино, второпях забывает сдачу, суетливо возвращается и едва успевает влезть в смыкающиеся с шипением двери. Мест свободных много, он садится к окну и, прислонившись к прохладному стеклу, – едет. Через некоторое время ему начинает казаться, будто поезд – это бур, пробивающийся сквозь огромный твердый кристалл, темный с краев, но становящийся все светлей и прозрачней к сердцевине, в которой, очевидно, и прячется неистраченное утреннее солнце.

На платформу Ступино выходит с десятков людей – в руках у них корзины, ведра, большие целлофановые пакеты. Львов с лукавым терпением опытного грибника дожидается, пока они скроются в деревьях, а потом по ведомой ему узкой тропке, обойдя поселок, углубляется в лес. Хотя солнце уже чуть привстало над горизонтом, вокруг еще сумеречно – листва и стволы кажутся сероватыми, точно в черно-белом фильме. Львову нравится утренний предосенний лес с влажным шуршанием листьев, запахом прели и птичьим безмолвием.

Прошагав минут двадцать и ощутив, как от росы брюки намокли до колен, он достигает наконец первой заветной полянки. Там, в мшистом треугольнике, между пожелтевшей березой и двумя елочками, его всегда ждет удача. Вот и теперь большой белый гриб на высокой ножке стоит вызывающе бесшабашно. Наверное, среди грибов, как и среди людей, тоже есть смельчаки, которые первыми поднимаются в атаку и, погибая, отводят опасность от других...

Срезав смельчака ножом, Львов внимательно оглядывается, даже приседает для лучшего обзора. Он никогда не уходит сразу, но тщательно обшаривает все вокруг, заглядывая под каждую еловую лапу, и, как правило, находит еще два-три трусливо затаившихся боровичка. «Храбрец умирает один раз, а трус тысячу!» – вслух бормочет он, обскребывая ножом землю с толстых ножек. Потом Львов идет глубже в лес, сверяясь с памятными приметами: оврагом, поросшим осинами, ельником, становящимся год от года все выше и гуще, огромным тракторным колесом, неведь откуда взявшимся в чащобе. Попутно он заглядывает в два-три места: на кочках подсохшего болотца собирает белесые подберезовики, в основном, правда, червивые, привычно подхватывает высыпавшие на просеку красноголовики с крапчатыми длинными ножками. А в маленьких квадратных овражках, оставшихся от военных землянок, Львов собирает чернушки. Их много, но они скрыты сухой листвой, поэтому искать их надо, ползая на коле-

нях и разгребая руками душистые предосенние вороха с белыми мохеровыми нитями потревоженных грибниц.

Последнее заветное место его грибных угодий – огромное поваленное обомшелое дерево, в эту пору обсыпанное мясистыми опятами. Однако сегодня Львову не везет: наполовину вросший в землю ствол покрыт бесчисленными ножками, оставшимися от срезанных шляпок, культы завялились на кончиках и стали похожи на бородавчатую кожу допотопного чудовища. Но наш герой горюет недолго, смотрит вверх – там, на высоте трех метров, на березе растут большие, белесые от спорового порошка опята. Он срезает длинную лещину, очищает от тонких веточек, чтобы получилось как бы удилище, и, размахнувшись, со свистом, ловко, в несколько ударов сбивает эти высокоствольные грибы. Корзина почти полна, и можно возвращаться. Но Львов почему-то идет дальше.

Прошагав с километр, он оказывается у серого бетонного забора, украшенного кое-где любовными признаниями, а также нехорошими надписями. Некоторые секции от старости выпали из общего ряда и лежали тут же, покрытые зеленым лишайником. За оградой был старенький заброшенный пионерский лагерь. Деревянные корпуса, похожие на бараки, выкрашенные когда-то в веселенький желтый цвет, сиротливо стояли под почерневшими, провалившимися кое-где шиферными крышами. Окна пустовали: рамы давно уже выломаны и унесены умельцами из близлежащего садово-огородного товарищества.

Линейка для торжественных построений пионерии, когда-то ухоженная, посыпанная гравием, обсаженная цветами и пузыреплодником, заросла березками, крапивой, полынью, лиловой недотрогой... От трибуны (к ней, чеканя шаг, шли некогда председатели отрядов, чтобы звонкими голосами отдать рапорт) осталось только бетонное основание: кованые перила тоже уволокли. Металлический флагшток проржавел и покосился. Тросик для поднятия флага, лопнув, завился, точно усы железного хмеля.

Дальше, за линейкой, начиналась аллея пионеров-героев. От нее сохранились лишь сваренные из уголков ржавые перекошенные рамы. В одной уцелел кусок фанеры с остатком юного лица: судя по раскосым глазам, это был маленький чабан Марат Казей, который то ли задержал нарушителей горной границы, то ли спас отару от волков, Львов уже не помнил. А в самом конце аллеи, перед буйными зарослями сирени, окружавшими хоздвор, словно на страже этого затерянного пионерского мира стояли друг против друга гипсовые барабанщик и трубач. Точнее сказать, когда-то они были барабанщиком и трубачом. От первого остались ноги в гетрах и половина барабана, повисшего на согнувшейся проволочной арматуре. Туловище отсутствовало. Кому оно могло понадобиться и куда его унесли? А вот трубач оказался поцелее: у него лишь откололась левая рука, но кисть, упертая в бок, сохранилась. Был также отломан мундштук горна, и выходило, что трубач дул в пространство. Остальное – и задорное курносое лицо, и гипсовый галстук, и короткие штанишки – все уцелело. Только побелка давно сошла, и горнист стал синюшного цвета, точно давний утопленник.

Львов поставил корзину и уселся возле постаментика. Ровно, как море, шумел лес. Припекало колючее осеннее солнце. В небе плыли крепко сбитые кучевые облака. Его сердце наполнилось той непередаваемой сладкой болью, которая охватывает нас лишь при посещении давних жизненных мест и, наверное, служит своеобразным, дарованным свыше наркозом, позволяющим сердцу не разорваться от сознания жестокой необратимости времени.

Львов достал свой нехитрый завтрак, порезал соленый огурец и луковку, разъял успевший слежаться многослойный бутерброд, разбил о коленку трубача яйцо и стал жевать, подливая себе чай из термоса. В колпачок, служивший стаканом, выпал кружок измученного лимона. Грибник выловил его пальцами и, морщась, съел.

Пестрый августовский лес, высоко обступивший то, что когда-то было пионерским лагерем, еле слышно роптал о том, что сделало время с этим некогда живым детским оазисом. Иногда с деревьев беззвучно срывался лист и, петляя в воздухе, ложился на траву. Земля посте-

пенно становилась похожа на лоскутное бабушкино одеяло. Вдруг пахнуло знакомыми духами, и он услышал звуки давней, забытой песни, которая была в то лето страшно популярна – и ее по несколько раз в день крутил лагерный радиоузел. Он даже оглянулся, ища алюминиевые репродукторы, висевшие когда-то на столбах, но их давно уж не стало. И Львов понял, что мелодия звучит в нем самом, а губы невольно шепчут забытые слова:

Только прошу тебя, не плачь!
Только прошу тебя, не плачь!
Я удержу в своих ладонях твою руку!
Ты слышишь, гипсовый трубач,
Старенький гипсовый трубач
Тихо играет нашу первую разлуку!

Она очень любила эту песню и все время напевала. После отбоя и вечернего педсовета, когда лагерь спал, они встречались здесь, возле гипсового трубача, в зарослях отцветшей сирени. Он снимал свою куртку, украшенную нашивками студенческого стройотряда, и набрасывал на ее зябнувшие плечи. Вечера были уже прохладные. Последняя, третья, смена заканчивалась. Им предстояло расстаться и разъехаться по домам.

Юный Львов старался не думать об этом, как не думают в молодости о смерти, но, конечно, понимал: скоро все закончится, – и не мог, не хотел смириться с тем, что вот эта звенящая нежность, наполнявшая его тело с того самого момента, когда он впервые увидел ее на педсовете, так и погибнет, развеется в неловких словах, случайных касаниях рук, косвенных взглядах, улыбках, полных головокружительной плотской тайны. Кажется, она чувствовала нечто схожее, день ото дня смотрела на него с нарастающей серьезностью, даже хмурилась, точно готовясь принять очень сложное и важное решение.

А поцеловались они за всю смену только раз, во время вожатского костра, разведенного на Веселой поляне. Она вдруг взглянула на него так, что он все сразу понял. Посидев немного со всеми, они, не сговариваясь, незаметно ушли в лес, в темноту, подальше от пьяных голосов, гитарного скрежета и огромных пляшущих теней. Из ночной глубины леса костер казался огненной птицей, бьющейся в решетке черных стволов и веток. Львов тихо обнял ее и поцеловал. Губы у нее оказались мягкие, нежные и доверчивые. Она пахла дымом и духами. Потом, много лет спустя он случайно выяснил, как они называются. «Сигнатор». Львов даже подарил такой флакон жене к Восьмому марта, но ей духи не понравились. А может, почувствовала что-то. Жены чуют другую женщину, даже прошлую, даже позапрошлую, лучше, чем таможенный сеттер – наркотики.

После поцелуя она, отстранившись, долго-долго смотрела ему в глаза и наконец спросила:

– Ты меня любишь?

– Да, люблю.

– И потом будешь любить?

– Боже... Нина... Конечно... – задохнулся Львов.

Он почувствовал: в этом робком «потом» уже очнулось и распустилось вечнозеленое слово «любовь». Накануне отъезда Нина сама подошла к нему и назначила свидание возле гипсового трубача, ночью, после прощального костра. Львов даже не слышал ее шагов, а только уловил запах «Сигнатора» и ощутил, вздрогнув, как ее легкие ладони легли ему на плечи. Он обернулся, их дыхания встретились – сначала дыхания, потом руки, губы, тела... Под платком у Нины не было ничего, кроме бездны женской наготы. Они любили друг друга прямо на мшистой земле, шатавшейся и кружившейся под ними. Любили прямо у подножия гипсового горниста, беззвучно трубившего в ночное небо гимн их невозможному счастью, которое

в единый миг пронзило их обоих, как пронзал копьем суровый ветхозаветный пророк иудеев, обнимавших чужeverных дев.

Потом они лежали недвижно и смотрели на звезды.

– Ты знаешь, что это? – спросила она, показывая на млечное крошево, рассыпанное по горному темно-синему бархату.

– Что?

– Каждая звезда – это любовь. Когда любовь заканчивается, звезда падает. Вон, видишь – полетела! Это кто-то кого-то разлюбил...

– Я тебя не разлюблю!

– Я знаю...

– Я тебя очень люблю.

– Я и это знаю...

– Не уезжай!

– Не бойся! Я к тебе приеду. Скоро! Съезжу только к родителям. Мама болеет...

– А где живут твои родители? – Львов почувствовал щемящую странность своего вопроса.

Он обнимает тело самой близкой, навеки ему теперь принадлежащей юной женщины, а сам не знает даже, где живут ее родители! Чудовищно...

– В Анапе.

– Это у моря?

– Прямо на берегу! Представляешь, мы сможем там отдыхать. Без всяких путевок. Я хочу, чтобы однажды мы сделали это в море, ночью...

– Я тоже... Я тебе буду звонить.

– Мне куда звонить. В Анапе у нас нет телефона. А в общежитии вахтерши никогда не позовут, особенно если мужской голос. Вредные.

– И много у тебя было мужских голосов? – с болезненной веселостью спросил Львов.

– Ах, паршивец! Он еще спрашивает! Как будто не понял! – смешливо возмутилась Нина и тихонько шлепнула его ладонью по губам.

– Я тебе буду писать! – пообещал он, привлекая ее к себе.

– Пиши...

Внезапно она рывком села и оттолкнула его. Львов испугался, даже обиделся.

– Здесь... здесь кто-то есть! Кто-то смотрит на нас... – задыхаясь, прошептала Нина, испуганно вглядываясь в темные силуэты кустов и прикрывая грудь скомканным платьем.

– Нет здесь никого. Мы одни. Все спят...

– Правда?

– Правда!

– Извини! Мне показалось... – словно ища прощения, она заставила его лечь и нежно склонилась над ним.

Вернувшись домой в Москву, он ждал ее звонка. Подбегал к телефону, но каждый раз это была не она. Написал несколько писем на адрес общежития, который Нина оставила ему перед разлукой. И получил ответ от коменданта общежития по фамилии Строконь. На тетрадном листке в клеточку от руки, буквами четкими и почти печатными сообщалось, что такая-то «из списков проживающих студентов выбыла в связи со смертью, наступившей в результате авиационной катастрофы, случившейся при посадке самолета местной линии в аэропорту Анапы...» Далее шла затейливая подпись и круглая фиолетовая печать. Эта печать на клетчатом, неровно оторванном тетрадном листе поразила Львова в самое сердце. Он зарыдал и проплакал до утра.

Прошло лет десять. Он был уже женат. И однажды ему приснилась Нина. Она недвижно стояла возле гипсового трубача в парадной форме пионервожатой: темно-синяя юбка, белая

блузка, алый галстук на груди и пилотка-испанка на голове. Девушка молчала, но ее глаза пытались сказать что-то отчаянно важное. Львов проснулся от страшного сердцебиения и ощутил в воздухе запах «Сигнатора». Он пошел на кухню выпить воды и, случайно глянув на отрывной календарь, обнаружил: завтра день их последнего свидания и первых объятий.

С тех пор каждый год в этот день он приезжает сюда, к гипсовому трубачу, к этому памятнику своей первой и, кажется, единственной любви...

«Уж замуж невтерпёж»

– Знаете, Кокотов, когда-нибудь я напишу книгу о моих женщинах и назову ее, допустим, «Томные аллеи». Как вам заглавие?

– Неплохо...

– Но вот беда: писать-то я как раз и не люблю.

– Жаль, я бы почитал...

– Сделаем так: я буду рассказывать, а вы записывать...

– Но...

– Тогда слушайте! У нас в ОБВЕТе...

– Где?

– В отделе обслуживания ветеранов кино работала интересная девушка. Назовем ее, кстати, Ветой. Так, ничего себе. Я пробовал: пикантно. Она страстно хотела выйти замуж за иностранца. А как известно, самые темпераментные и безоглядные среди чужеземцев – итальянцы. И тогда Вета пошла на курсы итальянского языка, окончила, стала подрабатывать гидом – и, конечно, приглядываться. Пару раз ей попадались какие-то никчемные работяги в новых, специально для поездки в Россию купленных малиновых башмаках. Потом встретился сицилиец, необыкновенный любовник, который жил у нее две недели и прерывал объятия лишь для того, чтобы узнать счет на чемпионате мира по футболу. Он очень хотел жениться на Вете, но развестись не мог, ибо состоял в браке с дочерью крупного палермского мафиози, и стоило ему лишь заикнуться, как, сами понимаете, ноги в лохань с цементом – и на дно к крабам...

В общем, Вета стала тихо отчаиваться, как вдруг ее приставили переводчицей к миланскому королю спагетти, прилетевшему в Москву для организации совместного производства макарон. Назовем его для разнообразия Джузеппе. Он влюбился в нее так, как только способен влюбиться пятидесятилетний мужик, отдавший всю свою жизнь макароностроению и семье. До безумия! Он снял ей квартиру, осыпал подарками, а когда узнал, что она собирается замуж (роль жениха по старой дружбе исполнил ваш покорный слуга), сразу сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Джузеппе был счастлив и, подарив ей бриллиантовое кольцо, улетел в Милан улаживать дела. Там у него имелись жена и трое детей, а развестись в Италии почти так же трудно, как у нас в России двум «голубым» пожениться. Пока...

Год он разводился и делил имущество. Родители его проклинали, жена при каждой встрече в присутствии адвокатов и журналистов плевала ему в лицо, дети рыдали, просили выбросить из головы эту русскую проститутку и вернуться в семью. Но он был непреклонен и продолжал бракоразводный процесс. Наконец поделили все макаронные фабрики и загородные дома. Он даже смирился с тем, что жена в порядке компенсации за моральный ущерб забрала себе гордость его коллекции – знаменитый перстень Борджиа со специальной выемкой для яда. И вот Джузеппе, свободный, как попутный ветер, прилетел в Москву, разумеется, заранее дав телеграмму: «Летчю на крыльях люпви! Твоя Джузепчик». Ветка ходила, всем ее показывала и плакала от счастья. Он ведь, молодец-то какой, между судебными заседаниями русский язык поучивал!

Вета, которая весь год вела себя как исключительная монашка и не порадовала ни одного мужчину (кроме меня, разумеется), накрыла стол, надела специально купленный прозрачный пеньюар, а фигурка у нее – я как очевидец докладываю – очень приличная. И представьте себе: обнаружив ее в дверном проеме, просвеченную насквозь до малейшей курчавой подробности, Джузеппе воскликнул: «Мамма миа!» И умер на месте от обширного инфаркта. Позже выяснилось: приступы у него начались еще во время бракоразводного процесса, но он полагал, что сердце болит от разлуки с любимой. Вот как бывает...

Вета чуть не сошла с ума и поклялась, что не взглянет теперь ни на одного итальянца. И слово свое сдержала: через три месяца она записалась на курсы шведского языка, а через полтора года вышла замуж за шведа Генрика – рослого блондина. А тот, поделив по суду принадлежавшие ему бензоколонки и автосервисы, в силу природного нордического хладнокровия все-таки остался жив...

Она родила ему трех сыновей, причем первенец оказался почему-то жгучим брюнетом. Как я в молодости...

Найти зверя!

– Кокотов, записывайте следующую историю!

Игрой судьбы однажды я оказался в спальном вагоне наедине с восточной дамой по имени Карина. Вообразите, за окном летящая ночь, а нас внезапная страсть буквально швыряет из угла в угол двухместного купе. Когда, миновав Бологое, мы утомились, она рассказала мне свою удивительную историю.

Ее муж, допустим, Иван Тигранович, служил в Министерстве заготовок на приличной должности. Жили они в достатке, согласии, изредка перед сном занимаясь по остаточному принципу любовью. Одна беда: министр Ивану Тиграновичу попался редкий жлоб, сволочь и хам, из хрущевских еще выдвигенцев. Об людей ноги вытирал, особенно любил в пятницу вечером, перед выходными, вызвать на ковер и изнавозить так, что человек еле выползал из кабинета. Поначалу Иван Тигранович, вернувшись со службы, чтобы расслабиться, напивался до потери сознания, но у него обнаружили слабую печень, и дело шло к циррозу. Карина призывала мужа к умеренности, умоляла, подсыпала в суп чудодейственную гомеопатию – все бесполезно. Каждую пятницу, воротившись со службы синим от позора, он доставал бутылку и пил, пока не падал со стула. А в субботу и воскресенье, конечно, болел: ни тебе лампочку ввернуть, а про то, чтобы ковер выбить или жену приобнять, – даже говорить нечего. Отчаявшись, Карина полетела за советом в Степанакерт к любимой бабушке. И старая мудрая армянка Асмик Арутюновна сказала: «Стань ему вином!»

Вернувшись домой, послушная внучка, чтобы отвлечь мужа от губительной привычки, после очередной министерской взбучки постаралась его по-женски приласкать. Иван Тигранович, надо заметить, откликнулся на это с таким звериным неистовством, будто пытался выместить на нежном теле супруги все свое подневольное отчаяние. Оскорбленная Карина собрала вещи и улетела в Степанакерт к бабушке. Но мудрая старая армянка Асмик Арутюновна ее отчитала и отправила назад со словами: «Лучше грубый муж, чем ласковое одиночество!» Воротясь, послушная внучка решила так: пусть уж пьет, чем зверствует на семейном ложе!

Наступила пятница. Карина накрыла стол, выставила коньячок, привезенный с исторической родины, оделась как монашка и стала ждать, надеясь вернуть порывы несчастного супруга в прежнее алкогольное русло. Но не тут-то было: Иван Тигранович вихрем влетел в квартиру, выпил для ярости стакан, содрал с жены ризы и, бормоча что-то про срыв плановых поставок, многократно над ней надругался. С тех пор так и повелось. Чем оскорбительнее был разнос министра, тем невероятнее вел себя муж на брачном одре. Карина сначала рыдала, потом смирилась, затем стала находить в животных порывах супруга некоторую приятность и наконец всем телом полюбила жесткие ночи с пятницы на субботу. Заранее надев тонкий черный пеньюар и наложив на лицо призывный макияж, она с нетерпением ожидала возвращения домой Ивана Тиграновича, униженного, растоптанного и жаждущего возмездия. Так они и жили. Душа в душу. Тело в тело.

Но тут, как на грех, умер Брежнев, пришел Андропов и начал всюду расставлять своих людей. Жлоба-министра, наградив орденом, отправили на пенсию, а вместо него прислали из КГБ генерала, который прежде курировал борьбу с диссидентами и вследствие специфики этой работы в общении с людьми отличался деликатностью, переходящей в служебную нежность. По пятницам он зазывал сотрудников в кабинет, угощал чаем с сушками, сердечно расспрашивал о работе, семье, обсуждал с ними новинки литературы и искусства, намекал на то, что скоро в Отечестве подуют свежие ветра обновления. И еженедельные расправы над ждущим телом жены прекратились – как не было. Иван Тигранович стал возвращаться домой в приподнятом, даже мечтательном настроении и за ужином объяснял Карине: главная беда в том, что

мы не знаем страну, в которой живем. Перед сном он, конечно, как правообладатель, устало проводывал жену, но редко и оскорбительно деликатно.

Несчастливая терпела, томилась и наконец, отчаявшись, полетела за советом к бабушке в Степанакерт. Мудрая старая армянка Асмик Арутюновна, выслушав внучку, долго молчала, потом сказала: «Если зверя нельзя разбудить, его надо найти!» И бедняжка стала искать. А как сказал поэт, «женский поиск подобен рейду по глубоким тылам врага». Прощаясь со мной утром на платформе и пряча печальные глаза, Карина горестно шепнула: «Если бы мой Иван Тигранович стал прежним, я бы никогда, никогда...» – и заплакала.

Больше мы никогда с ней не встречались.

Афганская дубленка

Жарынин раскурил трубку и завел новый рассказ.

– Однажды, на износе Советской власти, как сказал бы великий баснописец ГУЛАГа, я полетел в Ташкент на кинофестиваль «Хлопковая ветвь». И загулял. Страшное, доложу вам, испытание для организма. Жара, водка – и обе по сорок градусов! А еще еда, еда, еда. Стоит только присесть от естественного изнеможения – тебе уже несут плов, думают: проголодался. И отказаться нельзя: Восток! Обидятся и зарежут потом где-нибудь в глинобитном переулке сапожным ножом. По ночам местный сценарист и диссидент Камал приобщал меня к тайнам среднеазиатского эротизма, свившего гнездо в женском общежитии строительно-монтажного управления номер два. Все девушки там были славянки, за исключением касимовской татарки Флюры, которая, разгорячась, билась в моих объятиях с таким неистовством, что в этот момент бдительные ташкентские сейсмологи, наученные жутким землетрясением 1966 года, с тревогой фиксировали опасные взлеты самописцев.

Так прошла неделя. Выжил я только благодаря конкурсным просмотрам: днем отсыпался в прохладном кинозале под стрекот проектора, как на берегу журчащего арыка, набирался сил, а потом, на обсуждениях, не помня, конечно, ни хрена, говорил, что в показанных лентах заметно влияние Тарковского, удручает блеклость положительных героев и неряшливый монтаж. Все со мной, разумеется, соглашались. Потом был прощальный банкет, похожий на последний раунд боксеров-тяжеловесов: сил больше нет, а бить, то есть пить, – надо! И вдруг буквально за три часа до самолета мой разум вынырнул из черной фестивальной пучины, и я вспомнил о том, что жена моя Маргарита Ефимовна строго-настрого приказала купить ей в Ташкенте афганскую дубленку. Сейчас, конечно, трудно понять, зачем тащить из Средней Азии в Москву теплую одежду, но то были благословенные времена гуманного советского дефицита... Да-да, гуманного! Ведь при Советской власти в дефиците были лишь некоторые товары, как тогда говорили, повышенного спроса. Сегодня в дефиците деньги. Следовательно, дефицитом стало то, что можно купить за деньги, значит, абсолютно все! Эрго: мы живем в обществе тотального, бесчеловечного дефицита. Но вернемся к дубленкам. Их привозили из Афганистана офицеры «ограниченного контингента», да еще и «духи» по горным тропам контрабандой тоже подтаскивали. В Ташкенте эти тулупы стоили вдвое дешевле, чем в московских комиссионках.

Мы с Камалом с банкета помчались на базар. Отравленный многодневным пьянством мозг часто склонен к мрачным интерпретациям, и поэтому, когда мы зашли в торговые ряды, где продавали дубленки, мне показалось, я очутился в захваченном врагами городе: по обеим сторонам улицы висели, покачиваясь, зверски умерщвленные жители. Усилием воли, подкрепленным глотком водки, я вернулся к продажной действительности и после недолгих колебаний выбрал темно-коричневый расшитый восточными узорами и отороченный черной ламой тулупчик. А чтобы не ошибиться, накинул его на Камала, который размером был точь-в-точь как Маргарита Ефимовна. Мой восточный друг изящно запахнул полы, вильнул бедрами, изобразив лицом женщину, охваченную магазинным счастьем. У него, кстати, несмотря на Советскую власть, было две жены, одна законная, а вторая сокрытая под видом юной племянницы, приехавшей из кишлака, чтобы получить среднее техническое образование. В общем, я остался доволен и легко отсчитал четыреста пятьдесят рублей (деньги по тем временам немалые!) И мы с Камалом помчались, опаздывая, в аэропорт, но успели, разумеется, заскочить к его другу-поэту, который по такому случаю накупил выпивки и зажарил на балконе своей городской квартиры барашка. Стремительно выпили за вечную дружбу русских и узбеков, за дубленку, за братьев Люмьеров, за Омара Хайяма... И я отрубился. Кстати, мне кажется, померкнувшее сознание мертвецки пьяного человека временно – подчеркиваю, временно – отлетает в тот

же самый предвечный накопитель, куда прибывают и души тех, кто на самом деле умер. Там они трутся друг о друга и горестно общаются. Только таким, пусть кратким, но невыразимо печальным соседством можно объяснить запредельную тоску, какую ощущаешь, очнувшись после жестокой попойки...

Когда сознание вернулось, я обнаружил себя в длинном темном кинозале: мягкое кресло, стрекот проектора, храп кинокритика в соседнем ряду. Вообразив, что уснул на конкурсном просмотре, я решил во время предстоящего обсуждения добавить к обычным трем претензиям еще и четвертую: чрезмерная цитатность – болезнь режиссерской молодежи. Только странное дело – экрана нигде не было: ни впереди, ни сзади, ни сбоку. Лишь увидев стюардессу, поматерински обходящую задремавших пассажиров, я догадался, что нахожусь в самолете. Просто мне прежде не доводилось летать на новом, недавно пущенном в серию широкофюзеляжном Ил-86. Отсюда моя забавная ошибка. Я вообразил счастливое лицо жены, примеривающей дубленку, отхлебнул из початой бутылки безвкусный алкоголь и, успокоенный, уснул.

Когда, шатаясь, я спускался по трапу в Москве, стюардесса догнала меня и с гримасой отвращения сунула большой сверток, перетянутый шпагатом. Из разорванной в нескольких местах оберточной бумаги торчали черные жесткие космы. Я почувствовал себя конкистадором, возвращающимся на родину с мотком трофейных индейских скальпов. Таксист неохотно посадил меня в машину, а сверток, отворачиваясь, кинул в багажник. Тронулись, и мне стало хуже, пришлось допить бутылку, которую дал мне в дорогу мудрый Камал.

Утром я проснулся в собственной квартире, на «карантинном» диване. Дело в том, что во хмелю я брыкаюсь, могу громко спорить, скажем с Лелюшем о философии кадра, но что самое неприятное – могу обсуждать с какой-нибудь давно отставленной любовницей актуальные аспекты практической чувственности. Чтобы сохранить наш брак, жена и придумала «карантинный» диван. Первое, что я почувствовал, вернувшись к трезвой реальности, – это жуткий запах, исходящий от распростертой на полу дубленки.

В комнату вошла Маргарита Ефимовна с окончательным выражением лица, знакомым каждому пьющему мужу. Словами и очень приблизительно это выражение можно изъяснить так: «Ну и какая еще дура с тобой после всего этого станет жить, а?» Кстати, окончательность выражения совершенно не зависит от степени совершенного спьяну злодейства. Ты мог вчера попросту обозвать жену мороженой курицей, а мог и непоправимо сознаться в том, что у тебя есть вторая семья с тремя детьми.

– Ну, и как тебе дубленка? – весело спросил я, вспоминая, что же натворил в беспамятстве. – Размер угадал?

– Размер? – Жена горько усмехнулась. – Угада-ал...

– А что не так? – уточнил я с недобрым предчувствием.

– И ты еще спрашиваешь?

– Спрашиваю...

– Ты разве не чувствуешь запах?

– Выветрится, – успокоил я и вспотел от облегчения.

– Сомневаюсь... Но не это главное.

– А что?

– Кожа совсем не выделана.

– Ты преувеличиваешь! Ты вообще всегда и всем недовольна! – На меня начала накатывать похмельная ярость.

– Возможно, – кивнула Маргарита Ефимовна, подняла дубленку и поставила ее на пол. – Видишь?

– Вижу...

Мой подарок твердо стоял на паркете, прихотливо сложившись в странное сооружение, напоминающее вигвам.

– Но и это не все!

– Что ж еще?

– Она, она... – прошептала жена, всхлипнув, – она с застёжками на мужскую сторону! – и заплакала.

– Не может быть! – воскликнул я, понимая, что как раз очень даже может, ведь мерил-то я проклятую козлиную шкуру на пьяного Камала.

– Выброшенные деньги, – вздохнула Маргарита Ефимовна.

– Не волнуйся, деньги я верну!

– Ну конечно, так я и поверила...

Но я-то знал, что говорю! Одно время мне пришлось подрабатывать, читая лекции о современном советском синематографе в «Новороссийске». Нет не в городе, а в кинотеатре «Новороссийск». Помните, был такой на Земляном Валу? Я в ту пору водил дружбу с Гришкой Пургачом, перезнакомился с кучей знаменитых актеров, актрис и режиссеров, знал все их тайны. Лекции мои не претендовали на концептуальность. Главное – ответы на вопросы: кто на ком женат, кто с кем развелся, кто из звезд пьет как сапожник, а кто уже завязал или уехал за бугор, вроде Савки Крамарова. И вот однажды ко мне подошла миниатюрная брюнетка с легким пушком на верхней губе, свидетельствующим о скрытом темпераменте. Непонятно, правда, что несчастные дамы делают с этим темпераментом, когда после сорока пушок превращается в мушкетерские усы?

– Скажите, а правда, что Баталов женат на циркачке? – спросила она, волнуясь.

– Да, это так, – ответил я с лекторской солидностью. – Она цирковая наездница и цыганка.

А зовут ее Гитана...

– Гитана! – ахнула брюнетка, сверкнув черными глазами.

– А вас как зовут?

– Гуля Игоревна...

– Гуля Игоревна, я заметил, вы не в первый раз на моей лекции...

– Да, я тут работаю, через дорогу, в «комке»... старшим товароведом.

– В комиссионном магазине? Прелестно! – просиял я. – А вы когда-нибудь бывали в Доме кино?

– Никогда.

– Я вас как-нибудь приглашу.

– Вы тоже к нам приходите, если что...

Я стал к ним наведываться – и немного приоделся. Мы подружились, я за ней пытался ухаживать, но увы: Гуля Игоревна оказалась из порядочных женщин, изменяющих мужу только по любви. Как-то раз я повел ее в Дом кино на закрытый показ фильма «Однажды в Америке», причем на мне был роскошный темно-синий блейзер, который она же мне по-дружески попридержала. Тогда ведь с импортом непросто было, за привезенной из-за бугра модной шмоткой очередь выстраивалась. Поднимаясь по лестнице, я глянул на себя в огромное зеркало: мне навстречу шел статный джентльмен с ранней интеллектуальной лысиной и серебристыми висками, как у Николсона. Гуля тоже смотрела на меня в тот вечер особенными глазами. Знаете, для того чтобы в женском сердце вместо теплого снисхождения вспыхнула страсть, иной раз достаточно мелочи – изящно повязанного галстука, удачной шутки, оригинального подарка, нового пиджака... А то обстоятельство, что блейзер мне отвесила именно она, сработало как пусковой механизм. Я стал почти мужем, заботливо обуваемым и одеваемым.

Во время знаменитого эпизода, когда Лапша в исполнении Де Ниро насилует в такси боготворимую девушку, испуганная товароведка в темноте прижалась ко мне, и я, успокаивая, погладил ее колено. По дороге домой она твердила, что «такие неприличные вещи» показывать на экране, а тем более смотреть вообще нельзя! Я проводил ее до подъезда, Гуля поблагодарила меня за культурный вечер и смущенно промолвила, что с удовольствием пригласила бы к себе

на чай, но там, в квартире, ее ждут сын-школьник и муж-доцент, уверенные, будто она допоздна задержалась в магазине, заканчивая квартальный отчет.

– Ничего не поделаешь... – вздохнул я, и мы стали любовниками в лифте.

– Врете, врете, врете! – взорвался, не выдержав, Кокотов.

– Почему? – оторопел Жарынин.

– Потому что получается... получается, что каждую встреченную женщину вы обязательно укладываете в постель!

– Ну не каждую, коллега, далеко не каждую! Что же касается Гули, тут вы правы: потом, изредка, если моя жена уезжала в командировку, она заглядывала ко мне, чтобы взбодриться от торговой рутины.

– Врете, врете, врете!

– Нет, в таком оголодавшем состоянии вас нельзя пускать в дамское общество. Учтите, лишь легкая пресыщенность делает мужчину интересным.

– Не ваше дело!

– Андрей Львович, вспомните завет Сен-Жон Перса: воздержание – прямой путь к членовенонравственности!

– Пошли вы к черту!

– Я подумаю, как вам помочь!

– Не нуждаюсь. Рассказывайте дальше!

– Ладно. А вы не забывайте записывать.

Добившись близости, я решил и показал Гуле злополучную козлиную шкуру. Несмотря на эксклюзивное ко мне отношение, товароведка пришла в ужас и долго, надев нитяные перчатки, поминутно отворачиваясь, чтобы схватить свежего воздуха, ворочала мою зловонную покупку, напоминая патологоанатома, роющегося в мумифицированном трупe. Я собрался уже, махнув рукой, взять эту смрадную дрянь и выбросить где-нибудь за городом, но моя новая подруга, закончив идентификацию, посмотрела на меня долгим любящим взглядом, вздохнула и сказала:

– Ладно, оставь! Попробую что-то сделать...

– Неужели купят? – засомневался я.

– Но ведь ты же купил! – с экзистенциальной грустью, свойственной труженикам прилавка, ответила она. – Сколько, кстати, это стоило?

– Четыреста пятьдесят.

– Сколько?! Боже! Ну хорошо... Поставлю пятьсот пятьдесят. На руки, если удастся, получишь четыреста сорок.

– А может, лучше сразу снизить цену?

– Это мы всегда успеем. Если будет стоить очень дешево, начнут искать недостатки. И найдут...

– У нее застёжки на мужскую сторону, – на всякий случай напомнил я.

– Знаю! – самоотверженно прошептала моя возлюбленная: два дня назад она призналась, что ради меня готова уйти от мужа-доцента.

Для начала Гуля обработала дубленку импортным дезодорантом, угробив целый баллончик, в результате шкура уже не воняла козлом, зато исходила сладким трупным запахом.

– Звони! Буду ждать... – сказала она на прощание.

Не знаю, что она имела в виду: то ли участь выставленной на торжище гиблой дубленки, то ли мой отклик на ее готовность оставить ради меня супруга-доцента... Но так или иначе, а наши отношения с того момента пошли на убыль. Мне было неловко лишний раз звонить ей в «комок», ведь Гуля могла подумать – я лишь делаю вид, будто хочу услышать ее нежный голос, а на самом деле интересуюсь, не продается ли наконец отделанная ламой вонючка.

Моя подруга все чаще под разными предлогами стала отказываться от интимных свиданий, потому что при встрече, наскоро, как приветствиями, обменявшись оргазмами, мы, сами того не желая, начинали обсуждать туманные перспективы реализации сыромятного чудовища. А ведь прежде, подобно всем влюбленным, утомясь, мы подолгу нежились, искренне удивлялись тому, что на огромной планете, где бессмысленно шныряют туда-сюда миллиарды мужчин и женщин, два сердца, измученных брачным одиночеством, нашли друг друга. Гуля, неплохой счетовод, начинала вычислять вероятность нашей встречи... Вы не представляете, насколько ничтожна эта вероятность!

...Прошел почти год, а шкуру никто так и не купил. За это время мы окончательно охладели, и судьба дубленки, пожалуй, – единственное, что продолжало нас связывать. Мы перезванивались. Я успел страстно влюбиться в длинноногую студентку ВГИКа... Гуля Игоревна, в свою очередь, серьезно увлеклась молодым милиционером, дежурившим в стеклянной будке на перекрестке Земляного Вала и Старой Басманной, прямо напротив «комка»: он забегал иной раз по-соседски в магазинный туалет и однажды для удобства вынул из кобуры табельный «макаров», положил на сливной бачок да и забыл, совершив тем самым тяжкое должностное преступление. Пистолет нашла Гуля и убрала от греха в сейф. Через полчаса примчался постовой, белый, будто кафель в операционной, и в тот момент, когда моя бывшая подруга со снисходительной улыбкой возвращала ему оружие, малолетний хулиган Купидон поразил их из своей рогатки. В результате она все-таки бросила мужа-доцента, а милиционер – двух сыновей и жену-фасовщицу.

Я уже стал забывать про дубленку, да и Маргарита Ефимовна больше не спрашивала, махнув рукой и навсегда вычеркнув четыреста пятьдесят рублей из семейного бюджета. Вдруг, как сейчас помню, шестого марта звонит Гуля и севшим от волнения голосом сообщает: «Дима, приезжай! Купили!» Я помчался в «комок» как сумасшедший. Мне нужны были деньги: у студентки ВГИКа оказалось нездоровое, прямо-таки сорочье влечение к блестящим изделиям из драгоценных металлов, а я уже вступал в тот возраст, когда одним блеском глаз юницу не взять. Но еще больше мне хотелось узнать, как же все это произошло и кто именно купил мое козлиное горе.

Гуля ждала меня на пороге магазина, показательно светясь тем новым женским счастьем, какое так любят напускать на себя дамы при встрече с бывшими любовниками, даже если расстались спокойно и по взаимности. Я вручил ей огромный букет роз, купленный по дороге, она мне – четыреста сорок рублей. И все подробно рассказала. Оказалось, покупателей тоже было двое. Мужики, по виду командированные и пьяные в стельку, опаздывали на Ярославский вокзал к поезду. Один, едва ворочая языком, объяснил, что жена просила купить в Москве афганскую дубленку, отделанную ламой и обязательно с вышивкой.

– Даже и не знаю... – покачала головой опытная продавщица. – Есть у меня одна. Но ее уже отвесили...

– Не обидим! – пообещали командированные, поддерживая друг друга, чтобы не упасть.

И она, отворачивая лицо, принесла им мою злополучную шкуру. Но мужикам, которые, очевидно, пили все что можно и закусывали чем попало, запах даже понравился.

– Чуешь, кожей пахнет! Не подделка! Заменитель резиной отдает...

Но их беспокоило другое – размер. Покупающий пьяный внимательно посмотрел на дубленку и покачал головой:

– Не-е-е... Моя крупней... Мерь! – приказал он другу.

Сопровождающий пьяный, не сразу найдя рукава, надел дубленку.

– Размер правильный, – кивнул покупающий пьяный. – И вышивка приятная. Моей понравится. А вот лама что-то хилая...

– Совсем даже не хилая, – мягко возразила Гуля. – Просто сваялась. Расчешется!

– Нормальная лама! – подтвердил сопровождающий пьяный. – Расчешется.

– А ну застегнись! – бдительно приказал покупающий пьяный. – Знаю я этих душманов! У них всегда петель для пуговиц не хватает!

Гуля похолодела, понимая, что сейчас произойдет, ведь дубленка-то застегивалась на мужскую сторону. Несколько раз, сбиваясь, командированные пересчитывали сначала пуговицы, потом – петли. Как ни странно – сошлось.

– Чувствуешь, как пахнет? – восторженно втянул воздух сопровождающий пьяный.

– Еще бы! Натуральная! Моей понравится. Синтетика пахнет галошами.

– Сколько стоит?

– Пятьсот пятьдесят.

– Бери, не думай! – посоветовал сопровождающий пьяный.

– З-заверните!

– Но ее отвесили! – запротестовала Гуля.

– Не об-бидим!

Расплатившись, пьяные схватили сверток и, налетая на вешалки, умчались к поезду.

– Не обидели? – спросил я.

– Нет, не обидели... – ответила она и посмотрела на меня так, что стало ясно: с милиционером у нее скоро все закончится и она не против...

Но два раза войти в одну и ту же женщину, как справедливо заметил Сен-Жон Перс, невозможно!

– А Гуля? – после некоторого молчания спросил Кокотов.

– Что именно вас интересует?

– Ну, как у нее сложилось?

– Не знаю. Возможно, она вернулась к своему доценту. Я еще не настолько стар, коллега, чтобы интересоваться дальнейшей судьбой моих прошлых женщин! – мрачно ответил Жарынин.

Уроки английского

– В восемьдесят шестом году я впервые попал на Запад, в Англию. Мы полетели на международный фестиваль молодого кино «Вересковый мед»...

– Опять на кинофестиваль? – ревниво переспросил Кокотов.

– Представьте себе – опять! И не завидуйте! Как сказал Сен-Жон Перс, зависть – геморрой сердца. В самолете мы, конечно, выпили виски и начали, как водится, спорить о мировом кино: Тарковский, Лелюш, Феллини, Курасава... Среди нас был паренек, выпускник ВГИКа, потомственный киновед: его дедушка на страницах «Правды», рецензируя «Потемкина», требовал отправить Эйзенштейна на Соловки. Юноша весь рейс слушал наши прения с молчаливым благоговением, боясь раскрыть рот, словно смертный подавальщик амброзии на пиру заспоривших богов. Но вот самолет приземлился в Хитровке, равняющейся четырем нашим Шереметьевкам, и мы ступили на Великий Остров, мгновенно из речистых небожителей превратившись в косноязычных, «хауаюкающих» дебилов. И только один из нас, тонкодумов и краснобаев, композитор, написавший музыку к фильму «Молодой Энгельс», кое-как объяснялся строчками из битловских песенок. Преподавание иностранных языков в Советском Союзе было поставлено плохо, потому он так долго и продержался.

Зато наш потомственный киновед расцвел и вдруг затараторил на свободном английском. Не в пример нам, пробивавшимся к вершинам искусства из народной толщи, он окончил спецшколу, да еще занимался языком с природной британкой, которая работала связной у Кима Филби, а после провала великого шпиона была ввезена в СССР в мешке с дипломатической почтой. Я, кстати, давно заметил: чем проще мыслит человек, чем хуже говорит по-русски, тем легче даются ему языки. Замечали?

– Конечно! – обрадовался Кокотов, вспомнив бывшую жену, сбегавшую на годичные курсы и затрещавшую по-английски как сорока.

– А полиглоты – так и просто глупы! – углубил свою гипотезу режиссер. – И это понятно: в голове у них столько иностранных слов, что для мыслей просто не остается места.

– Точно!

– Как приятно, коллега, когда мы друг друга понимаем! – улыбнулся Жарынин. – И я поклялся: если вернусь, обязательно всерьез займусь английским.

– Почему «если»? Вы хотели остаться?

– Конечно! Как все, я мечтал выбрать свободу.

– Почему же не выбрали?

– Верите ли, я даже отправился просить политического убежища, но меня обогнал композитор. Он так торопился, на лице его была такая решимость, что я невольно замедлил шаг... Что есть, подумалось мне, свобода? В сущности, как сказал Сен-Жон Перс, всего лишь приемлемая степень принуждения. Не более. И ради того чтобы одну степень принуждения, домашнюю, привычную, поменять на другую, еще неведомую, чуждую, я оставлю родную страну? Брошу верную жену, любимых подруг и, наконец, животворный русский бардак, питающий соками наше великое искусство?! Нет! Как я буду жить среди этих странных англичан, которые говорят так, точно у них отнялась нижняя челюсть? А как любить британских женщин, похожих на переодетых полицейских?! Нет! Никогда!

– А что же композитор?

– Добежал – и ему дали убежище. Вы думаете, он теперь пишет музыку к голливудским фильмам? Ошибаетесь, коллега, он три раза в неделю ходит в ресторанчик «Борщ и слезы», чтобы играть на пианино попури из советских шлягеров, и счастлив, если кто-то бросит ему в кепку фунт или два. Иногда приглашают на Би-би-си, чтобы он рассказал, как в КГБ его зверски пытали, заставляя писать саундтреки к идеологическим киноподелкам, и он, чтобы

продлили вид на жительство, врет, будто на Лубянке ему грозили наганом и пугали Магаданом. На самом же деле, чтобы музыкально прильнуть к «Молодому Энгельсу», он изменил близкому человеку, став налогом заместителя председателя Госкино, мерзкого отроколюбивого старикашки! И это вы, сэр, называете свободой? В общем, вернувшись в Отечество, я поспрашивал знакомых, и мне нашли учительницу английского языка – вдову тридцати пяти лет, выпускницу ромгерма. Жила она, кстати, в элитном, как теперь говорят, доме с консьержкой, что по тем временам было такой же экзотикой, как сегодня охранник подъезда, одетый в железную кирасу и вооруженный алебардой. Звали ее... ну, допустим... Кира Карловна. Она, между прочим, приходилась внучкой одному из знаменитых сталинских наркомов.

– Какому?

– Много будете знать – скоро состаритесь.

Милая дама, но в женском смысле смотреть не на что: маленькая, худая, очкастая и такая вся духовная, что, глядя на нее, можно подумать, будто люди размножаются дуновением библиотечной пыли. В ее присутствии никаких желаний, кроме как «учиться, учиться и учиться», у меня не возникало. Она была образованна, начитана, неглупа, но и не умна. Впрочем, Сен-Жон Перс справедливо заметил: «Мозг вмещает ум не чаще, чем объятья – любовь!» В ее уме была та унылая правильность, какую часто обнаруживаешь у детей, унаследовавших профессию родителей.

Наши занятия шли своим чередом. Порой я ловил на себе ее пытливый взгляд, и мне казалось, я интересен ей не только как ученик, которому на удивление легко дается произношение. Однажды, когда мы проходили тему «В ресторане», я предложил обкатать топик в Доме кино, так сказать, в обстановке, максимально приближенной к застолью. Выпили вина, поговорили, конечно, о жизни. Оказалось, она была несколько лет в браке, потом муж ушел в горы и не вернулся. Не вернулся вообще или конкретно к ней – уточнять не стал из деликатности. На обратном пути, когда я провожал ее домой, она поглядывала на меня с ласковой выжидательностью. В лифте мне показалось, Кира хочет, чтобы я ее поцеловал.

«Ну, думаю, шалишь! Секс из сострадания – не мой профиль!»

В прихожей она вдруг неловко поскользнулась на паркете и, сохраняя равновесие, повисла у меня на шее. Нет уж, голубушка! Как потом прикажете отвечать ей неправильные глаголы? Но собравшись уходить, я вдруг прочитал в глазах бедняжки такое отчаяние, такую вселенскую тоску, такое космическое одиночество... Знаете, если женское одиночество когда-нибудь научатся превращать в электрическую энергию, не понадобится больше никаких атомных станций! В общем, я махнул рукой и поцеловал ее в губы, на всякий случай стараясь придать этому поступку оттенок товарищеской шутливости, а в ответ получил, как сказал бы ваш чертов Хлебников, в буквальном смысле «лобзурю»... Ну, потом, конечно, было послесодругательное смущение. Это когда мужчина и женщина всеми силами стараются после случившегося не смотреть друг другу в глаза, ибо удовольствие уже закончилось, а отношения еще не начались.

На следующем занятии мне, конечно, было жутко неловко, и я все время путал паст перфект с презент перфектом. Но когда Кира, явно нарочно уронив карандаш, гибко за ним наклонилась, я вдруг заметил, что на ней нет трусиков. Ну никаких! Эта милая забывчивость стала роковой. Впредь наши занятия делились на две неравные части: учебную и постельную. Кстати, она оказалась неплохим методистом, и мой альковный английский потом не раз выручал меня при тесном общении с иностранками. А под шкуркой библиотечной мыши, доложу я вам, таилось страстное, ненасытное, изобретательное женское существо. Казалось, Кира, не доверяя грядущим милостям судьбы, запасалась впрок плотскими восторгами, словно обитатель пустыни – водой.

Глядя на счастливое сотрясение наших тел как бы со стороны, я часто задумывался о том, что ни одна самая прочная титановая конструкция не выдержала бы столь бурных и многочисленных содроганий, которые претерпевает человек на протяжении своей половой жизни! Но страстность Киры при всей самоотверженности была чуть наивна, даже простодушна – и это придавало особое очарование нашим свиданиям. Потом я случайно обнаружил у нее в тумбочке американский самоучитель обольщения под названием «Как найти своего мужчину, покорить его и привязать к себе морским узлом». В этой книжке описывалось все: и ласковый выжидательный взгляд, и поцелуи в лифте, и скользкий паркет и, конечно, упавший карандаш без трусиков.

Но это, Андрей Львович, было только начало! Кира явно решила выйти замуж и действовала в полном соответствии с рекомендациями самоучителя. Она не только называла меня самым лучшим в мире мужчиной и гениальным режиссером, но постепенно вникала в мои творческие дела, напрашивалась на выполнение мелких поручений, перепечатывала сценарные заявки и отвозила их на студии. И я вдруг стал задумываться: «А почему бы и нет? Что я, собственно, теряю?»

С супругой моей Маргаритой Ефимовной мы сошлись в трудную пору. Конечно, она была доброй, заботливой, домашней женой, но не более того. Завидев меня на пороге, тут же вручала трубу пылесоса или помойное ведро, а то и рюкзак для похода на рынок за картошкой. Нет, она не чуралась моих творческих исканий, но относилась к ним с родственным снисхождением, как если бы я пил лобзиком, занимался подледной рыбалкой, гитарным туризмом или еще чем-нибудь, всерьез отрывающим мужчину от семьи. А еще она очень любила деньги. Нет, речь не о скупости или алчности, речь о каком-то врожденном благоговении перед этими всемогущими бумажками. Когда мне удавалось подзаработать (лекциями, например), она принимала добычу особым, таинственным жестом и раскладывала купюры по степени износа. А если попадалась новенькая, с острыми, как бритва, краями аметистовая «четвертная» или зеленая «полусотня», Маргарита Ефимовна долго ими любовалась, берегла и отпускала на хозяйственные нужды с грустным прощальным вздохом. Но крупные купюры в ту пору редко залетали к нам, и жена моя умела даже в стоны супружеских удовольствий вложить упрек за нашу семейную скудость.

– Как, и у вас тоже? – воскликнул автор Кокотов.

– Да, мой друг, да! Как сказал Сен-Жон Перс: «Мы всегда влюбляемся в самую лучшую на свете женщину, а бросаем всегда самую худшую. Но речь идет об одной и той же женщине!»

– Слушайте, а может, нам об этом снять фильм? – восторженно воскликнул писатель.

– Коллега, об этом уже столько снято, что мы будем чувствовать себя как в гарнизонной бане. Вам разве не интересно, чем закончилась моя история?

– Конечно, конечно!

– Маргарита Ефимовна, разумеется, очень скоро почувствовала: тут что-то не так. Правда, выходя замуж за опального режиссера, от чего ее отговаривала вся больница...

– Какая больница?

– Не важно. Так вот, выходя за меня, она заранее смирилась с моими увлечениями, необходимыми творческой личности для иллюзии внутренней свободы. Поначалу Маргарита Ефимовна, решив, что это просто очередная интрижка, заняла выжидательную позицию, много лет спасавшую наш брак. Но интрижка затягивалась. Кроме того, всякая мудрая дама может простить мужу охлажденный, даже равнодушный взгляд, но взгляд, в котором появилось сравнительное женоведение, она не прощает. О том, что опасность исходит от учительницы английского, догадаться было нетрудно: в мужчине, возвращающемся от любовницы, всегда есть добродушие сытого хищника. Взяв с собой сына, Маргарита Ефимовна поехала за советом к матери на историческую родину в станицу Старомышатскую Краснодарского края.

Многоопытная моя теща Василина Тарасовна, приручившая до смерти двух мужей и одного сожителя, объяснила дочери, что выхода у нее два. Первый: самой завести себе кого

получше и наплевать – муж наелозится и сам приползет с повинной. Второй выход: взять из кухонной утвари что-нибудь потяжелей, пойти к обидчице и объяснить ей основы брачного законодательства. Первый способ приятней, второй – надежней.

За время отсутствия жены я окончательно решил изменить мою семейную участь. Ночевал я все эти дни, конечно, у Киры, и мне была предьявлена действующая модель нашей будущей совместной жизни, включавшая утренний кофе в постель, трогательную заботу о моем здоровье, страстное участие в моих творческих начинаниях, вечернее музицирование и, конечно, творческий секс перед сном. Ах, как она – в черных чулках на ажурном поясе – играла ноктюрны Шопена на фамильном «Стейнвее»! Кира деликатно, но упорно внушала мне, что Маргарита Ефимовна вряд ли сможет достойно разделить мой грядущий кинематографический триумф. Нет-нет, она женщина хорошая, со средним специальным образованием, но, увы, этого мало, чтобы стать полноценной соратницей жреца богини Синемопы.

Должен сознаться: слушая Киру, я с трудом, но представлял себя в смокинге на знаменитой каннской лестнице. Однако вообразить, что рядом со мной идет Маргарита Ефимовна, я не мог, как ни старался. Зато в этой роли Кира отчетливо видела себя. Потомица сталинского сподвижника, она была напугана на генетическом уровне, скрытничала, уклонялась от прямых вопросов и лишь однажды после нескольких бокалов вина и бурной взаимности намекнула, что по линии дедушки-наркома род ее уходит в недра столбового дворянства. Я удивился: генералиссимус вроде строго следил за рабоче-крестьянским происхождением соратников. В ответ она лукаво улыбнулась, положила мне голову на грудь и шепнула, что Сосо сам был внебрачным сыном путешественника Пржевальского, чинившего как-то башмаки у сапожника Джугашвили. Но только это страшный секрет.

Все шло к разводу. Тревожило меня лишь одно: каждую ночь Кира прибегала к моим мужским возможностям с бурной жадностью, ее женская взыскательность не убывала, как это обычно водится между привычными любовниками, а напротив, угрожающе нарастала. Возможно, учтя все остальные плюсы, я бы пренебрег этим неудобством: в конце концов, после того как ее муж не вернулся с гор, бедная женщина залежалась без дела.

«Когда-нибудь ей это все-таки надоест!» – утешал я себя, готовясь к переменам брачной участи.

Но тут случилось страшное. Конечно, никакого любовника Маргарита Ефимовна не завела. Она ведь у меня однолюбка...

– А как же ее первый брак?

– Ошибка молодости. Кстати, знаете ли вы, что в древнерусском языке было два слова: «мужелюбица» и «мужелюбница». Первое означало верную жену, а второе – женщину легкого поведения. Кстати, совершенно напрасно под «легким поведением» мы подразумеваем лишь ночную вахту на бровке тротуара и готовность запрыгнуть в первую притормозившую машину. Нет. Мужелюбница может быть строга, труднодоступна, даже верна в супружестве, но ее привязанность – это не метастазы любви, необратимо поразившие сердце. Это, если хотите, просто дополнение, иногда очень желанное, к собственной жизни. А утраченное дополнение всегда можно заместить. Кира была именно из таковых, как и ее дед, переметнувшийся потом к Хрущеву...

В общем, дело было так. Маргарита Ефимовна в субботу, как и положено мужелюбице, готовила борщ. И вдруг услышала голос, который громко и внятно, причем с южным мягким «г» произнес: «Истинно говорю: этот балаган надо разогнать! Прямо сейчас! Встань и иди!» Оставив кастрюлю борща на малюсеньком огоньке, моя супруга вооружилась зонтиком отечественного производства, тяжелым, как булава, и пошла на расправу. Телефон Киры я сам ей дал, когда не предполагал еще, что буду изучать английский по альковной методике. Ну, а выяснить адрес абонента, имея номер, пустяшное дело. И вот тут началась роковая цепочка совпадений. А Сен-Жон Перс учит нас: «Если черт – в деталях, то Бог, конечно, в совпаде-

ниях!» Во-первых, занятий в тот день не предполагалось. Однако, проезжая мимо Кирино дома, я притормозил. В Москве стояла жуткая жара, хотелось пить, да и есть тоже. И я совершенно спонтанно решил на часок заскочить: наши отношения к тому времени достигли такого градуса, что сделать это можно было запросто, без звонка. Она, открыв дверь, буквально расцвела от нечаянной радости.

– Ах, у меня как раз суп из артишоков!

Правда, у нее дома оказался ученик, абитуриент с лицом любознательного дебила. Но она его сразу выставила, а мое желание после жаркой улицы принять душ истолковала по-своему, переодевшись в прозрачное кимоно, подаренное ее бабушке, кажется, женой японского посла. Кстати, за ненормальную дружбу с послами Сталин бабушку посадил. Представляете, дедушка рулит тяжелой отраслью, а бабушка сидит. Суровые времена! Но справедливые: не бери подарков от послов. Итак, после душа, в махровом халате, оставшемся от ее мужа, я с аппетитом закусывал, а она хлопотала и, согласно рекомендациям охмурительного учебника, все время роняла что-то на пол и нагибалась, распахивая кимоно, надетое на голое тело... И тут, вы не поверите... Минуточку, я закурю...

Так вот, внезапно на пороге кухни из ничего, понимаете, из воздуха материализовалась Маргарита Ефимовна, как ангел возмездия, с зонтиком вместо огненного меча. Кира от неожиданности взвизгнула и, уронив, разбила кузнецовскую тарелку. Я же просто одеревенел. А моя разъяренная супруга с криком: «Ага, английским они тут занимаются!» – обрушила на мою голову всю тяжесть советской легкой промышленности. Очнувшись от мистического оцепенения, закрываясь как щитом бархатной подушкой, привезенной дедушкой-наркомом из Венеции, я организованно отступил в ванную, потеряв на бегу халат. Закрыв дверь, перевел дух, омыл раны и перегруппировался.

– Но как она попала в квартиру?

– Вот то-то и оно! Потом выяснилось: консьержка, пускавшая в дом гостей только с разрешения жильцов, буквально на миг отлучилась с поста, чтобы взглянуть на мотоциклиста, въехавшего в бочку с квасом. В результате Маргарита Ефимовна вошла в строго охраняемый подъезд беспрепятственно. Но это еще не все! Кира и ее соседи, люди зажиточные, отгородили на всякий случай свои квартиры общей железной дверью, всегда запертой. Однако именно в тот момент соседская дочка выводила на прогулку собачку.

– Вы к кому? – бдительно спросила она незнакомую женщину с зонтиком.

– Я к Кирочке! Мы подруги... – ласково ответила, готовясь к жестокому набегу, коварная казачка.

Но и это еще не все. Моя учительница была тщательной, даже опасливой дамой и теряла голову только в постели. Уходя от нее, я всякий раз слышал, как она защелкивает за мной множество замков: от дедушки-наркома, проходившего всю жизнь в одном штопаном френче, осталось столько антиквариата, что хватило бы на областной музей. Мне иногда кажется: в распределителе на Маросейке старым большевикам выдавали к праздникам не только дефицитные продукты, но и художественные ценности, конфискованные у буржуев и врагов народа. Во всяком случае, три яйца Фаберже, кузнецовский сервиз и двух левитанчиков я видел у нее собственными глазами! Но в тот день случилось невероятное: дебильный абитуриент, уходя, не захлопнул дверь, а Кира, предвкушая внеочередное счастье, забыла проверить запоры...

– Ну скажите мне, возможно столько совпадений в один день?

– Не думаю, – признался Кокотов.

– Вот именно. Прав Сен-Жон Перс: Бог в совпадениях.

– А чем все закончилось?

– Закончилось? Ха! Тут все только началось! Я отсиелся в ванной, пришел в себя и потребовал мой костюм. Требование удовлетворили. Я оделся, причесался, прислушался. Тихо. Значит, Кире, учитывая ее высокообразованную хрупкость, Маргарита бить не стала.

Уже неплохо! Еще несколько минут я потратил, подбирая перед зеркалом соответствующее лицо. Задача непростая, ведь я должен был предстать перед супругой, застывшей меня с любовницей, и перед любовницей, застывшей женой. Главная сложность в том, что для Марго требовалось одно выражение лица – скорбно-виноватое, а для Киры другое – философски-ободряющее. Попробуйте совместить! Наконец мне как-то удалось приладить к физиономии философски-виновато-ободряющую мину – и я вышел к дамам.

Они сидели на кухне друг против друга и молча курили. В пепельнице собралось довольно окурков, на которые соперницы смотрели не отрывая глаз, словно ища в них ответ на роковые вопросы жизни.

– Ты же бросила! – мягко упрекнул я жену.

Она глянула на меня, как на черную плесень, заговорившую человеческим голосом.

– Может, выпьем? – деликатно предложил я, понимая, что после такого ломового стресса алкоголь всем пойдет на пользу.

– У меня ничего нет... – прошелестела скуповатая Кира, не отводя скорбного взгляда от пепельницы.

– А та... ну, помните? Дедушкина... – спросил я, имея в виду бутылку малаги, стоявшую на вечном хранении в холодильнике.

Это вино лет сорок назад наркому подарили герои-эпроновцы. Разминировав после войны севастопольский рейд, они наткнулись на остов английского фрегата, затонувшего в Крымскую кампанию, и подняли со дна несколько бутылок, обросших длинной зеленой тиной. По мнению историков, это вино послала из Лондона командующему британскими войсками лорду Раглану его жена, кстати, племянница герцога Веллингтона. Умирая, дед завещал Кире откупорить бутылку в самый главный день ее жизни.

– Хорошо, возьмите... – с трудом кивнула она, вероятно, решив, что такой день наступил.

Пока я возился с окаменевшим от времени сургучом и пробкой, дамы молча курили, глубоко затягиваясь. Изредка они отрывались от пепельницы и вглядывались друг в друга, видимо, оценивая взаимную опасность. Наконец я разлил тягучую, почти черную малагу в богемские бокалы. Вино оказалось густым, ароматным и очень крепким.

– Ну, и что теперь? – сурово спросила Маргарита Ефимовна, выпив до дна, залпом, по-станичному.

– Пусть решает Дима... – интеллигентно пригубив драгоценный напиток, мягко предложила Кира и глянула на меня с многообещающей нежностью.

– Дима?! – заголосила жена, как на майдане. – Он тебе еще не Дима!

В ответ Кира тонкой улыбкой выразила мне искреннее сочувствие в связи с напрасными унижениями, которые я терплю в этом неравном и бесцельном брачном союзе. Накануне тихушница открылась, что по бабушке она баронесса Розенфельд, поэтому в Америке у нее есть дальние родственники, как ни странно – акционеры киноконцерна «Уорнер Бразерс». Словом, о международном признании моих будущих фильмов можно не беспокоиться.

Я посмотрел, мысленно прощаясь, на Маргариту Ефимовну, и мне стало жалко бедняжку до слез. Знаете, когда долго живешь с женщиной, даже ее недостатки постепенно становятся достоинствами. Я вспомнил, как ждал ее с букетом желтых роз у проходной, как мы целовались в массажном кабинете, как она с квартальной премии купила мне часы «Полет» в экспортном исполнении, а я буквально через два дня расплатился ими в ресторане Дома кино. Бедняжка всю ночь плакала от обиды, а наутро в отместку изрезала ножницами мой любимый галстук с подсолнухами Ван Гога – последний писк тогдашней высокой моды.

– Ну вот что, Дмитрий Антонович, – вдруг устало проговорила Маргарита Ефимовна. – У меня борщ на маленьком огоньке. Или ты сейчас уходишь со мной, или остаешься здесь – учить английский. Навсегда. Хотя, может, у Киры Карловны другие жизненные планы...

– Нет, почему же? – с нескрываемым торжеством ответила та. – Я Дмитрия Антоновича приму!

И тут меня как ударило – сильнее, чем зонтиком. Что значит – «приму»? Я, собственно, кто такой есть – парализованный родственник или груз, отправленный малой скоростью? Я, можно сказать, ниспровергатель устоев, гроза застойного кинематографа, советский Феллини... Она меня примет! Обхохочешься! И вот что непонятно: образованная Кира, потомница двух знатных родов, получившая прекрасное домашнее воспитание, окончившая МГУ, стажировавшаяся в Оксфорде... Утонченная Кира, которая всегда говорила так, словно с листа переводила викторианскую прозу... Хитроумная Кира, выучившая наизусть мировой бестселлер «Как найти своего мужчину, завоевать его и привязать к себе морским узлом»?.. И вот те нате: какое-то нелепое, бабье «приму»! Да что я, погорелец, в конце-то концов?! Инвалид на транспорте? Не надо меня принимать! Не надо! Тоже мне – странноприимница нашлась! Вот какой разрушительной мощью обладает неверное слово! Динамит судьбы! Тротил! Одна нелепая фраза – трах-бах! – и жизнь летит в другую сторону!

– Спасибо за прием, Кира Карловна! – сказал я, допил малагу и встал.

– А что случилось? – спросила она, бледнея.

– Все отлично!

– Но почему-у-у?

– Учите русский язык!

С тех пор мы больше никогда не виделись. Слышал только, что бедняжка страшно переживала, болела, ходила по врачам и через год вышла замуж за психиатра. Ее супруг некоторое время спустя поехал с друзьями на охоту и не вернулся: к ней или вообще – неизвестно. Теперь вам все понятно, коллега?

– Что именно?

– Вдумайтесь! Провидение целенаправленно расстроило наш брак с Кирой.

– Почему?

– А потому, что над ее родом тяготело проклятье. Не знаю, кто уж там больше насвистывал – дедушкины или бабушкины предки, но кармическая кара неизменно настигала Киру, унося в неведомое близких ей мужчин. Однако на вашего покорного слугу у Провидения имелись особые виды, от меня ждали чего-то большего, нежели тихо проживать большевистский антиквариат, утешать чересчур емкую женственность Киры и однажды не вернуться с рыбалки.

– Какие же такие виды? – улыбнувшись, полюбопытствовал Кокотов.

– Ирония, как справедливо заметил Сен-Жон Перс, – последнее прибежище неудачника. Вам ясно?

– Не совсем...

– Что не ясно?

– Как там у вас потом было... с Маргаритой Ефимовной?

– Как у людей. Приехали домой. Борщ, конечно, выкипел, но мы разбавили гущу кипятком. Жена стала накрывать на стол, а меня отправила вынести помойное ведро... Еще вопросы есть?

– Нет.

Белла

– А иногда, Кокотов, прошлая любовь высовывается из тьмы былого и делает нам ручкой.

– Как это?

– А вот так. Лет десять назад отправился я просить деньги на новый фильм к очень крупной минкультовской чиновнице, о которой слыхал, что к казенным средствам она относится без излишней задумчивости. Впрочем, тогда, при Ельцине, задумчивость считалась в Кремле дурным тоном... А я хотел снять сиквел «Евгения Онегина». Ленский убивает на дуэли Онегина, женится на Ольге, а Татьяна выходит замуж за Дубровского, которому изменила Маша Троекурова. Молодые эмигрируют в Штаты, где Таня Ларина уже барыней знакомится... Ну, догадались – с кем?

– Не совсем...

– Эх, вы! Со Скарлетт О'Харой...

– Не может быть!

– Может! Как сказал Сен-Жон Перс, большое искусство живет по принципу дорогого борделя: любые фантазии за ваш счет! Итак, я долго добивался аудиенции и наконец добился. В обширной приемной, увешанной мазней Миши Гузкина, который рисует только глазастые вагины и зубастые задницы, за секретарским столом вместо привычной девушки сидел молодой человек с влажной кучерявой прической и взглядом испорченного пионера. Но кофе подавала роскошная референтка с грудью, буквально выпадавшей из строгого офисного костюма, будто мяч из рук пьяного гандболиста. До сих пор не могу себе простить, что не взял телефончик...

– На вас не похоже!

– Не сыпьте соль на рану! Она еще болит! Итак, минута в минуту, как и договаривались, я вошел в кабинет, по сравнению с которым кабинеты коммунистических бонз (а к ним-то я хаживал, ох, как хаживал!) – это жалкие собачьи конурки. Чиновница, одетая, кстати, с большим вкусом, была в той женской поре, когда возраст определяется уже не годами, а тем, сколько нужно времени провести у косметолога, чтобы показаться на людях. Она вышла мне навстречу и подала руку. А руки у нее были уже немолодые. Они выдают женщину сразу! Вы обращали внимание, что эта немолодость особенно заметна почему-то, когда на пальцах много колец? Целуя руку, я даже оцарапал подбородок об особенно крупный бриллиант. Мы сели... Объяснять ей, кто я такой, не пришлось: «Ах, ну как же, как же! „Двое в плавнях“!...» Я был польщен и, как птица Гамаюн, запел о возрождении российского кино, о том, что, соединив Татьяну и Скарлетт, мы выведем наше искусство на общемировой уровень! Она слушала, кивала, но смотрела на меня как-то странно, с эдакой ностальгической теплотой и даже лукавством. Я заливался об исторической миссии российского кино, а она вдруг, отпив минеральной воды, сделала губами такое движение, словно слизывает с них оставшиеся капли, как Роми Шнайдер в «Старом ружье». Помните?

– Не помню.

– Невежа! В семидесятые, когда фильм показали в СССР, многие наши прелестницы переняли это восхитительное губодвижение. И тут я чуть не поперхнулся шоколадной конфетой с ромом, потому что вспомнил все и сразу... Ну как, как я мог не узнать эту женщину?! Белла! Бог ты мой!

Итак: конец застоя, я в ореоле мученической подпольной славы, которую в ту пору могли дать только запрет и гонения. Боже, счастлив художник, хоть недолго побывший под запретом! Единственное, о чем сожалею, – что не попал под суд, как Бродский, за тунеядство. Я бы сегодня попирали тысячедолларовыми штиблетами каннскую фестивальную дорожку! Но, увы, дабы не терять трудовой стаж, я имел глупость оформиться лектором в общество «Знание».

Нет, вы подумайте – трудовой стаж! Понадобился гений Бродского, чтобы предвидеть: трудовой стаж – ничто, а гонимость – все! Гонимость, а не талант, и тем более не трудовой стаж, – дает настоящую славу. В этом великое Оськино открытие! А стихи его читать невозможно. Филологическая диарея.

- Не согласен! – возмутился Кокотов.
- Да? Тогда почитайте мне Бродского наизусть!
- Пожалуйста:

Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать!

- Это все?
- Все, – покраснел Андрей Львович.
- Одна строфа. И та обманная. Умер-то он в Венеции.
- Вы просто ему завидуете!

– Конечно, завидую: он догадался наплевать на трудовой стаж, а я не догадался. И все-таки после скандала с «Плавнями» я был упоительно гоним. На интеллигентных кухнях Москвы, послушав «Голос Америки», радостно шептались, что мой арест – дело решенное. Меня звали в гости, будто я достопримечательность, угощали мной, словно деликатесом. Женщины смотрели на меня примерно так же, как курсистки девятнадцатого века – на патлатого народовольца, собиравшегося наутро метнуть бомбу в генерал-губернатора. Разумеется, дам, жаждавших скрасить мои последние дни на свободе, было хоть отбавляй. Я даже начал привередничать, чваниться, старался избегать, скажем, двух блондинок подряд...

- А вот это вы фантазируете! – возмутился Кокотов.

– Нет, мой одинокий друг, не фантазирую, а вспоминаю с трепетом! И вот как-то раз меня пригласили в мастерскую к одному архитектору. Он проектировал типовые дома культуры для совхозов-миллионеров, но при этом мастерил втихаря какую-то вращающуюся хрень и о Корбюзье говорил так, словно тот – всего лишь пьющий сосед по лестничной клетке. Кстати, сейчас он строит особняки новым русским, и эти сооружения похожи на совхозные клубы. В мастерской собралось несколько пар – и ни одной одинокой дамы. Я даже с облегчением подумал, что нынешнюю ночь смогу наконец отоспаться. Но тут вышел жуткий семейный скандал. Начался он как невинный литературный спор. И устроила эту свару Белла. Она схлестнулась со своим спутником (пусть он будет Петром) из-за того, кто выше – Блок или Окуджава. Судя по короткой стрижке и неловкому синему костюму, Петя был советским офицером и, конечно, бился за Блока, даже прочитал наизусть до середины «Скифов». Белла подняла его на смех и объявила, что народный поэт тот, кого поют. Блока-то не поют... Ее поддержали и хором ударили:

Ах, Надя, Наденька,
Мне б за двугривенный
В любую сторону
Твоей души!

Петя растерялся, а Белла презрительно процедила, что только непроходимое ничтожество может усомниться в превосходстве Окуджавы над Блоком. Офицер вспылел, объявил, что между ними все кончено, и ушел, хлопнув дверью так, что обрушился макет Целиноградского народного театра. Интеллигентная компания облегченно вздохнула, радуясь, что легко отделалась от этого военнослужащего мужлана. Честно говоря, в споре я молчаливо был на стороне

офицерики. По совести, мне эти Булатовы гитарные дребезжалки никогда особенно не нравились. Но история рассудила иначе: сравните жалкого истуканчика Блока, притулившегося в скверике возле Малой Бронной, с роскошным памятником Окуджаве на Старом Арбате.

Но я промолчал, потому что Белла была хороша! Ах, как хороша! Длинные светлые волосы, черный свитер, облегающий высокую нерастраченную грудь, короткая черная юбка, из-под которой произрастали совершенно тропические ноги! Ну разве можно спорить с такой женщиной? Она, оставшись одна, сразу как-то призывно погрузилась. Я, конечно, бросился утешать. Мы разговорились. Оказалось, девушка учится в Институте культуры на библиотечном отделении. Сбежавшее «ничтожество» – ее жених, разумеется, теперь уже бывший. А ведь страшно подумать, твердила она, через две недели должна была состояться свадьба! Даже кольца купили. Я предложил выпить за судьбу. Отхлебнув рислинга, Белла вдруг облизнула губы прямо как Роми Шнайдер. И я вскипел. Мы сбежали от архитектора, гуляли по ночной заснеженной Москве, страстно целуясь в каждой встречной телефонной будке, а потом пошли ко мне – греться. Мне даже не пришлось особенно настаивать: девушка просто жаждала отомстить несостоявшемуся мужу за его подозрительную любовь к Блоку. По-человечески это понятно, но Белла оказалась настолько злопамятна, что весь следующий день мы провели в постели. Бывали минуты, когда казалось – я уже бессилен перед ее неутомимыми поисками новизны, но она делала глоток вина, по-шнайдеровски облизывала губы, и у меня снова открывалось не знаю уж какое по счету дыхание! В ту ночь, потрясаясь ею, я подумал: если Белла не зароет свой женский талант в прокрустовом брачном ложе, а использует с прицельным умом, то сможет сделать блестящую карьеру. Тем более что даже в постели она уже тогда стремилась занять командное положение...

Все эти воспоминания пронеслись в моем сознании за мгновение, и я изобразил восторг узнавания:

– Боже мой, Белла Викторовна... Сколько лет, сколько зим...

– Да, Димочка... А какая в тот год была зима! Теперь таких не бывает! – вздохнула она.

– Как семья? – осторожно спросил я ее.

– Нормально. Петя – генерал. Пенсионер. Сидит на даче. Подагра.

– Какой Петя? Значит, они помирились? – изумился Кокотов.

– Разумеется! Я позвонил ей ровно через месяц после нашего безумия.

– Почему через месяц?

– Так она просила. Сказала: должна осознать, что с нами произошло, ведь такое с ней впервые! Я позвонил, и Белла сообщила, что свадьбу сыграли в назначенный день и что она очень счастлива!

– Так, значит... – начал догадываться Андрей Львович.

– Ну конечно, мой наивный соавтор, всю эту ссору она специально разыграла, чтобы поближе познакомиться со мной: не каждый день случается заполучить в объятия запрещенного режиссера! Я так понимаю, она просто решила сделать себе подарок, прежде чем выйти за своего офицерики, верного и надежного, как советская противоракетная оборона.

Мы посмеялись с Беллой Викторовной над тем давним приключением и обменялись особенными взглядами... Мол, если бы все можно было вернуть назад, мы, конечно, не расстались бы, нет, а пробезумствовали по крайней мере еще одну ночь, даже две... Прощаясь, она сказала, что, конечно, даст мне денег на фильм, завизировала мою заявку, даже позвонила в профильное управление, чтобы зарезервировали средства. Я возликовал. Нашел отличного соавтора, молодого, талантливого. Но за неделю до того, как должны были утвердить смету на коллегии Минкульта, произошла катастрофа: Беллу ограбили...

– И убили? – похолодел Андрей Львович.

– Лучше бы убили... – вздохнул Жарынин. – Пользуясь ее светлой памятью, я бы сумел вырвать деньги на картину. Увы, увы... Она была в загранкомандировке, а Петя на даче читал

Блока. Воры залезли в их городскую квартиру и вычистили все. Белла вернулась и тут же подала в милицию заявление, приложив список похищенного – в основном ювелирных изделий. Кто-то из ментов слил информацию «Коммивояжеру», и там опубликовали список украденного. Номер вышел в тот день с восемью дополнительными полосами, где перечислялись спертые сокровища. Начался скандал: мол, откуда столько «ювелирки» у скромной чиновницы? Пошли разоблачительные статьи. Одна, помню, называлась «Грязное брюльё Беллы Ивановой». Неплохо, да? И ей пришлось уйти в отставку. Продав цацки, что были на ней во время командировки, она купила небольшое поместье на Корсике и навсегда уехала из проклятой России вместе с отставным генералом Петей. Больше я ее не видел. И денег, конечно, никаких на фильм не получил.

Вот такая грустная история, Кокотов. Записали?

Запах мужчины

У нас в доме, в первом подъезде на четвертом этаже, жила молодая семейная пара – офицер-танкист и учительница. Его звали Павел, ее – Анфиса Андреевна. Учительниц всегда, знаете, по имени-отчеству величают. Анфиса была хороша! Молодую Мирошниченко чем-то напоминала. Любил ее муж без памяти: вечно с цветами, тортами, духами – как жених. Знали они друг друга со школы, познакомились на городской олимпиаде по математике. Так вот, день знакомства, двадцать пятое января, был у них самый главный праздник. В этот день Павел всегда тащил жене такой огромный букет, что еле в лифт с ним помещался. Сын у них рос, Миша, – отличник. Офицерам в ту пору, при Грачеве, тяжело жилось – зарплата копеечная, да и ту месяцами не выдавали. Но Павел смысленный оказался мужик и вот что придумал: он в своих танковых мастерских иномарки ремонтировал и неплохо зарабатывал. У меня тогда «Тойота» была, и разбил я ее вдрызг. Так он мне тачку как новенькую собрал. Мастер! Сколько раз ему говорил: «Паша, бросай ты службу! Гиблое дело! Пока у нас президент-белобилетник, ничего хорошего в армии не будет. Открой автосервис: озолотишься!» А он мне: «Я потомственный офицер. Мой прадед Шипку брал! Все скоро переменится, Россия без хорошей армии долго не сможет!»

А тут как раз война с Чечней. Его танковый батальон на Грозный бросили. Последний раз он жене позвонил под Новый год, мол, завтра возьмем город. Скоро приеду. Жди! Люблю. Береги сына! А потом пришли из военкомата, глаза прячут... В общем, погиб во время новогоднего штурма Грозного. Тогда этот баран Грачев танки без прикрытия на улицы загнал – их и пожгли. Павел, сказали, сгорел в броне без остатка. Мол, извините, можем дать лишь какой-нибудь символический пепел. Вручили урну, напоминающую кубок школьной спартакиады. Да еще и могилу выделили черт-те где – возле Домодедова. Кладбище огромное, ямы экскаватором роют. Сунули урночку в мерзлую землю, стрельнули в небо – и разошлись.

Как же Анфиса убивалась, как убивалась! Если бы не сын, может, что-нибудь с собой и сделала. Месяц вообще лежала не вставая. Моя Маргарита Ефимовна от нее не отходила, нянчилась с ней, как с маленькой. Потом вдруг Анфиса вскочила, глаза горят, кричит: «Не верю! Мы не его похоронили. Я чувствую!» Оставила сына соседям, помчалась в Ростов-на-Дону, там на запасных путях в вагонах-рефрижераторах неопознанные останки хранились. Что уж она там увидела, не знаю, но вернулась покорная, снова пошла на работу в школу. В общем, успокоилась, притихла, стала жить... А через год у нас новый дворник появился. Поселился он, как и прежний, умерший от пьянства, в пристроечке к котельной. Мужик был сильно пострадавший: руки обожжены, а лицо... Помните, как у Юценки рожа перед выборами изволдырилась?

– Еще бы! – кивнул Кокотов.

– Так вот, у нового дворника куда хуже. Ни волосинки на черепе – одни струпья фиолетовые. Чистый Фредди Крюгер! Голоса тоже нет – связки сожжены. Не говорил – хрипел, не сразу и разберешь. Да и по мужской части он, судя по всему, что-то там утратил. Кое-как объяснил: с Кузбасса, в шахте обгорел, когда метан рванул. Дворником инвалид хорошим оказался: не пил, территорию в чистоте содержал, пацанам свистульки из жести вырезал, в сантехнике неплохо разбирался, ремонтировал лучше и дешевле, чем вся эта пьянь из домоуправления. Сначала из-за внешнего вида его приглашать в квартиры побаивались, а потом привыкли: руки хоть и страшные, обгоревшие, а золотые. Была у него, правда, одна особенность: как свободная минутка выдастся, сядет на скамейку возле своей каморки и смотрит на дверь первого подъезда. Смотрит, смотрит, смотрит...

А с Анфисой Андреевной стало тем временем происходить что-то странное: однажды она вошла в лифт и чуть не упала в обморок, потому что уловила отчетливый запах своего погибшего мужа. Потом вдруг двадцать пятого января нашла на пороге огромный букет цветов. С

ней истерика! Мы стали успокаивать, мол, это кто-то из однополчан покойного решил сюрприз сделать – все ведь знали, как Павел ее любил. Но с ней все-таки нервный срыв случился: боялась из дому выйти, везде ей запах покойного мужа чудился... Посовещались мы по-соседски и нашли хорошего психотерапевта, видного мужчину лет сорока. Стал он к ней ходить: гипноз, анализ страхов, угнетенная женская чувственность, сознание-подсознание, либидо-подлибидо, разговоры о потаенном детстве и все такое прочее... Сперва он с ней, как положено, ровно час занимался, минута в минуту. Потом стал задерживаться, чаевничать. Затем с пакетами магазинными начал появляться – она ведь вообще из дому не выходила от страха. А там глядим: уже и Мишку из школы за руку ведет. Раньше-то пацана мы по очереди забирали...

А дворник сидел на своей лавочке и внимательно на все это смотрел. Один раз у психотерапевта машина не завелась. Он и так и сяк – мертвая. Обгорелый подошел, заглянул под капот, проводок какой-то поправил – затарахтела. Но от денег отказался. Надо ли говорить, что настал день, когда психотерапевт так и не вышел от своей пациентки, заночевал. Инвалид сидел всю ночь на лавочке и курил. Я как раз из Дома кино с премьеры возвращался за полночь.

– Не спится? – спросил.

– Не спится... – прохрипел он.

– О чем думаешь?

– О справедливости.

– Лучше не думать о том, чего в жизни не бывает! – посоветовал я и ушел.

Утром дворник исчез, оставив возле лавочки страшное количество окурков – точно гильзы, отстрелянные у пулемета после жуткого боя. А в дверь Анфисиной квартиры была воткнута записка: «Будь счастлива! Павел». Почерк она тут же узнала, бросилась к консьержке – мол, кто заходил, а та отвечает: никого чужого не видела, только дворник появлялся, сказал, у вас прокладку в ванной выбило. Тут-то Анфиса все и поняла, метнулась в милицию, военкомат, ФСБ... Стали разбираться и выяснили: действительно, из Моздокского госпиталя как раз в то самое время, когда появился у нас новый дворник, выписался один прапорщик, уроженец Кузбасса, очень сильно обожженный, но до родного городка не добрался – пропал. Впрочем, был он бессемейный, и никто на это внимания не обратил. Принялись опрашивать друзей и выяснили, что у прапорщика уж очень веселая татуировка на груди имела, ни с чем не спутаешь: голая девушка верхом на крупнокалиберном снаряде. Тут Анфиса и вспомнила, как в Ростове-на-Дону видела труп именно с такой наколкой. В общем, дошло: обожженный инвалид – это Павел. Он, похоже, решил утаиться от любимой жены, начать новую, искалеченную жизнь с чужими документами, да потянуло домой...

Анфиса сначала не могла себе этого простить, выгнала психоаналитика, ждала, что муж вернется, что он где-то рядом затаился, ходила по округе и расклеивала, точно объявления об обмене, бумажки, написанные от руки Мишкой: «Папа, вернись! Мы тебя с мамой очень любим!» Надеялась, муж руку сына узнает, расчувствуется и простит. Нет. Исчез. А вскоре я прочел в «Коммивояжере» заметку, что на загородном шоссе, по которому ездил на службу и обратно Грачев, нашли тело мужчины, подорвавшегося при попытке установить мину на пути следования министра обороны. Тело неудачливого террориста, особенно лицо и руки, имело следы страшных, но уже заживших ожогов. Анфисе я ничего не сказал. Она до сих пор надеется, хотя психотерапевт к ней снова заходит, но на ночь пока не остается.

Первая женщина *Лагерная повесть*

1. Опоздание

Автобусы в пионерский лагерь отъезжали в 10.00. От министерства. Это в самом конце улицы Кирова, почти возле Садового кольца. Андрей Кокотов опоздал на двадцать минут, хотя все рассчитал и даже сел в первый вагон, чтобы выйти поближе к эскалатору. Он пристроил между ног старый коричневый фибровый чемодан, с ним еще, наверное, маму Светлану Егоровну родители отправляли в пионерский лагерь. Додремывая, Кокотов ехал, сдавленный со всех сторон попутчиками, и был уверен, что прибудет вовремя. Однако на перегоне между «Комсомольской» и «Лермонтовской», почти у цели, поезд вдруг остановился. Пассажиры, не заметив внезапной тишины, некоторое время продолжали говорить громкими, преодолевающими шум движения голосами, но вскоре, почувствовав неладное, начали переглядываться и постепенно смолкли. Стало совсем тихо. Только из репродуктора, вмонтированного в стенку, доносилось тревожное шипение, точно машинист в первом вагоне хрипло дышал в микрофон, не решаясь сказать жуткую правду о том, что случилось с ними здесь, под землей.

– Абзац котят! – пошутил растрепанный мужичок и хихикнул от избытка оптимизма, который сообщают организму утренние сто пятьдесят граммов.

Трезвое вагонное большинство сдержанно заволновалось. Вскоре запахло лекарством: кому-то сделалось дурно от духоты. Заплакали дети. Закрестилась сельского вида старушка. Кто-то уловил запах гари, и все начали шумно втягивать воздух, как битлы в песенке «Гёрл». Кокотов после короткого прилива ужаса впал в состояние вялотекущей паники. Наверное, нечто подобное почувствовала бы несчастная селедка, очнувшись в запаянной консервной банке, намертво сдавленная с боков своими однорассольницами.

И вдруг поезд медленно тронулся.

– Живите, гады! Пока... – мрачно разрешил растрепанный мужичок.

Пассажиры сделались на мгновение счастливыми, потом на лицах появилась обида, все стали смотреть на часы, возмущаясь, что бессмысленно простояли почти полчаса и теперь, конечно, опаздывают. Кто-то громко пообещал написать об этом безобразии куда следует. Наконец состав выполз из змеящейся темноты тоннеля на свет и потянулся вдоль толпы, забившей платформу.

– Станция «Лермонтовская», – как ни в чем не бывало объявил доброжелательный механический голос. – Следующая станция «Кировская».

Двери, шипя, разъехались, Кокотов, вырвав стиснутый пассажирами чемодан, выскочил вон и чуть не наступил на клеенку, покрывавшую мертвое тело.

– Осторожней! – предупредил милиционер. – Вон туда! Быстрее! – и показал на проход, выгороженный металлическими барьерами.

Из-под клеенки, как успел заметить Андрей, торчала бледная мужская рука с часами на запястье. Белая манжета рубашки была измазана чем-то вроде сажи. Вспотев от ужаса и стараясь не смотреть на труп, Кокотов поспешил в проход, но не выдержал и еще раз глянул: из-под клеенки на платформу выбралась черно-красная кровь и загустела географическим пятном. Мчась вприпрыжку по эскалатору, взволнованный юноша увидел двух санитаров. Один стоймя держал брезентовые носилки, свернутые наподобие свитка Торы, второй торопливо доедал эскимо.

У входа на станцию «Лермонтовская» ждали сразу три кареты «Скорой помощи». Ударяясь ногами о чемодан, Кокотов побежал, задыхаясь, к месту сбора. Лобастые автобусы, напоми-

навшие бычков с красными флажками вместо рогов, выстроились один за другим от Садового кольца и почти до ЦСУ. К боковым окнам были прикреплены листы ватмана с номерами отрядов и надписью «Осторожно, дети!», а к ветровым стеклам – транспаранты «п/л „Березка“». Все было готово к отправке колонны. Кругом толпились родители. Они знаками и жестами давали последние инструкции по безопасному отдыху детям, приплюснувшим к окнам носы.

Первый отряд, как и следовало, сидел в головном автобусе. У открытой двери стояла напарница Андрея воспитательница Людмила Ивановна, с которой он познакомился на общем собрании педагогического коллектива лагеря две недели назад. Около нее нервно топтался старший пионервожатый Игорь по прозвищу Старвож, которое произносилось, разумеется, с обидным «ш» на конце – Старвош. Это был редковолосый тридцатилетний парень с толстой нижней губой, отвисшей в беспомощном изумлении перед жизнью. И что уж совсем плохо: к ним руководящей походкой направлялась начальница лагеря Зэка – Зоя Константиновна – суровая полнеющая женщина с красивым еще лицом, немалым бюстом, пышным начесом и взглядом председателя выездной сессии суда. На груди у нее висел мегафон.

– В чем дело? – требовательно спросила она, посмотрев сначала на часы, а потом на опоздавшего Кокотова.

– Я... Понимаете... – залепетал он. – Человек попал под поезд... в метро... Мы в тоннеле стояли...

– Какой еще человек? Как не стыдно, Андрей! – Игорь от негодования попытался поджать нижнюю губу, но неудачно.

– Чего только не выдумают! – покачала головой Людмила Ивановна.

– Это правда! Я не обманываю...

– Подумайте лучше о своей характеристике! – сказала Зэка и глянула на провинившегося так, что стало ясно: даже если он добьется выдающихся воспитательных успехов, станет новым Макаренко или Яном Амосом Каменским, больше тройки за летнюю педагогическую практику ему не видать.

– Отъезжаем? – спросил Старвож.

Зэка кивнула и крикнула в мегафон:

– Товарищи провожающие, отойдите от автобусов! Всем отъезжающим занять места и приготовиться к движению!

Наставительная жестикуляция родителей ускорилась, стала смешной и торопливой, как в немом кино. Некоторые детские лица в окошках беззвучно заплакали.

– Стойте! Стойте! – К директору подбежал физкультурник Николай Николаевич, Ник-Ник, – подтянутый старичок в синей шерстяной олимпийке и свежих кедах. – Зоя, погодите – художницы нет!

– Таи? – уточнил Игорь.

– Таи, – кивнул Ник-Ник.

– Таи, – повторила Зэка, вздохнув так, как руководители вздыхают о подчиненных, которых никогда бы сами не взяли на работу, если бы не указание.

– Ничего, электричкой доедет! – всунулась неосведомленная Людмила Ивановна.

– Ждем, – мрачно распорядилась начальница.

– А обед? – удивился Старвож.

– Ждем!

В этот миг, нарушая все приличия дорожного движения, возле автобусов с визгом затормозила красная «трешка». Оттуда выскочили два лохматых парня и девушка. Все трое были одеты в джинсовые костюмы с умопомрачительными белесыми потертостями, какие бывают только у настоящей «фирмы». Парни достали из багажника черную спортивную сумку «Адидас», этюдник и красный двухкассетник «Шарп», стоивший тогда в «Березке» примерно пятьсот полосатых чеков. Сумма заоблачная! Девушка, прощаясь, бросилась на шею сначала

одному парню, потом другому, вскинула на плечо этюдник, подхватила магнитофон и, волоча дорогую сумку по асфальту, заспешила через дорогу к автобусам, не обращая внимания на сигналившие машины.

– Извините, Зоя Константиновна, мы с дачи ехали... долго... – пролепетала она с улыбкой проснувшегося ребенка.

У девушки были рыжие короткие волосы, веснушчатая бледная кожа и голубые отвлеченные глаза.

– Быстрее, Тая! – устало приказала Зэка. – Вы меня подводите. Неужели не ясно?! Отъезжаем!

– Отъезжа-аем! – Ник-Ник, будто олимпиец, несущий огонь, побежал вдоль колонны.

Все поднялись в свои автобусы. Кокотов поймал на себе настороженные, изучающие взгляды мальчишек. Девочки, на самом деле почти уже девушки, смотрели на него с оценивающим любопытством. Их пионерские галстуки были завязаны с продуманным кокетством и лежали на груди под тем или иным углом.

«Вот ведь акселератки!» – хмыкнул Андрей, усаживаясь на единственное свободное место, рядом с опоздавшей рыжей художницей.

Опустив стекло и высунувшись из автобуса почти по пояс, она прощально махала своим приятелям, а те в ответ сигналили.

– Тая, закройте окно! Детям надует! – распорядилась Зэка.

Дети, у которых уже пробивались усы, тем временем со знанием дела оценивали оставшиеся в автобусе Тайны ягоды, обтянутые именно так, как только и могут облегать телесную выразительность настоящие американские джинсы. «Тая из Китая», – ревниво съехидничала одна из девочек.

– Обоярова! – покачала головой Зэка.

Кокотов сделал показательно равнодушное лицо.

Колонна во главе с мигающей милицейской машиной вырулила на Садовое кольцо и двинулась в сторону Курского вокзала. Когда они проезжали станцию «Лермонтовскую», похожую на огромную суфлерскую будку, оттуда вышли санитары, таща на носилках тело, накрытое окровавленной простыней. Двери «Скорой помощи» были распахнуты, а милиционеры отгоняли любопытных. Зэка, увидав в окно покойника, хмуро глянула на Андрея и недовольно пожала плечами. Кто ж знал, что именно в этот момент решила его, Кокотова, участь? Начальница, чтобы отвлечь от страшного зрелища пионеров, повскакавших с мест, чтобы лучше видеть притягательный для юного сердца кошмар смерти, спросила в мегафон:

– Какая у вас будет отрядная песня?

– Не знаем!

– «Остров невезения»!

– «Гренада»! – приказала Зэка и запела в мегафон:

Мы ехали шагом, мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню держали в зубах...

Первой с готовностью подхватила Людмила Ивановна, постепенно присоединились и дети. Во время пения начальница несколько раз взглядывала на Кокотова, но уже не строгими, а признанными, если не сказать виноватыми глазами. Потом, позже он не раз вспоминал то пионерское лето, изумляясь, из каких тонких и почти случайных причинно-следственных паутинок соткана человеческая судьба! Ну в самом деле, выйди санитары с носилками минутой раньше или позже, Зэка так бы и думала, что наглый практикант, оправдываясь, гнусно наврал. И уж конечно она не стала бы выгораживать молодого лгуна, когда в лагерь приехал разбираться кагэбэшник. Это во-первых. А во-вторых, она никогда бы не предложила ему порабо-

тать еще одну смену. Следовательно, Лена Обиход, заболевшая в сессию и проходившая лагерную практику в июле, никогда не вышла бы за него замуж, а так бы и осталась навек просто полужаной однокурсницей.

Тая закрыла окно, села на свое место рядом с Кокотовым и сразу, вопреки громкой песне, задремала, положив голову на плечо незнакомому водителю. От ее рыжих, как у мультипликационной лисицы, волос пахло ароматным табачным дымом и какими-то очень нежными, совершенно не советскими духами. Андрей изнутри затомился, но все-таки заметил, что сидящая через проход Обоярова, круглолицая, плоскогрудая девочка, смотрит на них с ревнивым интересом, не забывая при этом петь:

Новые песни придумала жизнь.
Не надо, ребята, о песне тужить!
Не надо, не надо, не надо, друзья!
Гренада, Гренада, Гренада моя!

2. Здравствуй, лагерь!

Торжественное открытие смены – «Здравствуй, лагерь!» – состоялось через два дня. За это время Кокотов перезнакомился со своими пионерами, сочинил в соавторстве с Людмилой Ивановной план мероприятий. Затем избрали совет отряда, звеньевых, председателя, выпустили стенгазету, походили строем, разучили отрядную песню, выявили таланты для КВНа и самодеятельности. Все оказалось не так уж страшно: напарница работала в лагере десятое лето и знала многих нынешних первоотрядников еще сопливыми второклассниками. Вообще-то она была инженером-пищевиком, а в «Березку» ездила из-за квартиры, обещанной профкомом, ну и чтобы свои дети были на воздухе под присмотром. Ребята ее слушались. Людмила Ивановна всегда ходила со скрученной в трубку «Комсомольской правдой», и если дети начинали озорничать, хлопала их газетой по лбу или по задку. На этом обычно нарушения дисциплины заканчивались. Не напрягаясь, отряд, как и в прошлые годы, называли именем Гайдара. Сначала, правда, хотели – именем Светлова, но под «Гренаду» трудно было ходить строевым шагом, поэтому остановились на авторе «Тимура и его команды»:

Там, где труднее и круче пути,
Гайдар шагает впереди...

В то пионерское лето Людмила Ивановна была уже, так сказать, на излете женской ликвидности, много рассказывала про своего мужа Валерия, тоже инженера, увлекавшегося йогой и карате. Почти каждый вечер напарница бегала после отбоя в директорскую приемную – звонить в Москву. И по тому, с каким лицом она оттуда возвращалась и с какой силой поутру шлепала пионеров свернутой газеткой, было ясно, насколько прилежно Валерий в ее отсутствие соблюдает режим супружеской благонадежности.

Кстати и об этом... Во времена войны заводили полевых жен и даже целые полевые семьи, в пионерском лагере тоже имелись свои любовные союзы, иногда краткосрочные, иногда многолетние. К примеру, Ник-Ник, ездивший в «Березку» физруком с незапамятных времен, влачил древний амур с поварихой Настей, все уверяли, что двое детей у нее от мужа, а третий от физкультурника. Старвож Игорь состоял в давней связи с баянисткой Олей. Один раз за лето внезапно приезжала его жена, особым чутьем угадывая сокровенный момент и обязательно застукивая их в интересном уединении, устраивала дикий скандал, пыталась порвать баян, называя при этом мужа «вонючим губошлепом», а Олю – «б...ю с гармошкой». Разнимали

дерущийся треугольник всем педагогическим коллективом, и никто не мог понять две вещи: во-первых, почему жена приезжает только один раз за целое пионерское лето, но, как говорится, тютелька в тютельку? Во-вторых, почему бездетный Игорь не разводится с драчливой супругой и не женится на Ольге, которая куда моложе и пригожей законной соперницы? Тайна сия велика есть!

Да что там Игорь! Даже самодержица лагеря Зэка, как и все царицы, имела слабость по мужской части. К ней изредка на черной «Волге» наведывался высокий чин из министерства, Сергей Иванович, – для проверки оздоровительно-воспитательного процесса. Однажды Кокотов помчался искать пионера, улизнувшего на Оку... О, это было самое страшное, ночной кошмар вожатых и воспитателей! (Когда пропала Обоярова, он чуть не сошел с ума!) Каждый педсовет начинался леденящими цифрами детской «утопаемости» в летних оздоровительных учреждениях. Вот и опять: в таком-то лагере на Волге утонул ребенок, а в другом, на Оби, захлебнулись сразу двое, но одного успели откачать. Халатного педагога повязали тут же: пять лет общего режима... В тюрьму Кокотову очень не хотелось, он ринулся по следу нарушителя водной дисциплины и вдруг увидел на высоком берегу Зою и Сергея Ивановича, сидящих под березкой. Чиновник был в костюме и галстуке, но снял ботинки с носками и выставил к ласковому июньскому солнышку босые ноги. Зэка тоже была в своем руководящем темном платье, зато на голове у нее красовался венок из золотых одуванчиков. Они молча смотрели на искрящуюся воду с какой-то взаимной нежной грустью. Забыв про пионера, Кокотов затаился в надежде увидеть, как они хотя бы поцелуются. Вообще-то эти страсти-мордасти сорокалетних людей казались тогда юному Андрею Львовичу чем-то смешным и неестественным, вроде юбилейного забега героев Перекопа.

В лагере шептались, что Сергей Иванович и Зэка когда-то работали в одном горкоме. И у них... случилось. Не на бегу, между работой и домом, а по-настоящему. Она хотела, чтобы он развелся с женой, и тоже собиралась уйти от мужа, забрав дочь и оставив сына. Оступившихся горкомовцев вызвали и объяснили: или любовь, или карьера. Они выбрали любовь, потому-то Сергей Иванович и ушел из партийной системы в министерство. Но тут Зоин муж, военный химик, попав на испытаниях под утечку, стал инвалидом. Она твердо сказала: теперь развестись не может. И все осталось как есть. Зэка согласилась на хлопотную должность директора лагеря, а Сергей Иванович приезжал к ней при каждом удобном случае. На открытии смены он, стоя на низеньком подиуме возле флагштока, говорил выстроившимся в каре пионерам энергичную и бессмысленную речь об дисциплинированном детстве, отданном Родине, но Зэка смотрела на него так, словно любимый мужчина читал стихи, посвященные ей персонально. Кстати, они так тогда и не поцеловались, продолжая смотреть на быструю и невозвратимую, как жизнь, Оку. Он всего лишь взял ее за руку...

А пионер, пока любопытный вожатый сидел в кустах, успел накупаться и вернулся в корпус. Распознав преступника по мокрым от ныряния волосам, Людмила Ивановна зверски отлупила его свернутой газеткой. Понять ее можно: несчастная женщина звонила несколько раз домой и не смогла застать мужа-каратиста не только вечером, но и утром...

3. Вожатский костер

После открытия смены был, как обычно, вожатский костер на знаменитой поляне, где, видно, еще с довоенных времен разводили пионерские огневища. Столб пламени, завывая, поднимался выше деревьев, а искры сыпались в ночное небо и смешивались со звездами. Зэка подняла стакан вина и произнесла длинный тост об ответственности, лежащей на людях, которые работают с детьми, выпила, попросила всех быть умеренными и ушла, давая подчиненным возможность отдохнуть и расслабиться.

– К своему почапала! – доверчиво шепнула Андрею библиотекарша Галина Михайловна.

Она сразу подседа к Кокотову, опередив хотевшую сделать то же самое медсестру Екатерину Марковну. Обе женщины были не настолько молоды, чтобы ждать милости от природы. Следовало торопиться: обычно именно на первом вожатском костре завязывались отношения, длившиеся потом всю смену, все лето, а иногда и всю жизнь. И если уж ты кого-то выбрал на первом костре, перекинуться потом на шею к другому или другой считалось, по неписаным законам пионерского лагеря, верхом неприличия. Нравственные были времена! Высоконравственные!! Высоко-высоконравственные!!!

Тогда, не теряя времени, Екатерина Марковна подсоседалась к Мантулину – однокурснику Кокотова. Но тот особой радости не выразил – он лишь томно закатил глаза, словно Миرون в «Соломенной шляпке».

Кроме Витьки Мантулина, на практику прибыли еще три их однокурсницы, имен которых теперь, наверное, и не вспомнить. Самую симпатичную, занимавшуюся, судя по фигуре, танцами, звали, кажется, Марина. Девушки были совсем молоденькие, гордые, нетроганные, почти не пили, а на разворачивавшуюся вокруг легкомысленную сатурналию смотрели с пристальным ужасом. Марина (она всем уже рассказала, что осенью выходит замуж) вскоре поднялась и с презрением удалилась. Через некоторое время в панике исчезли и две другие однокурсницы, испуганные настойчивыми ухаживаниями пьяного лагерного водителя Михи.

А костер был огромен! Казалось, даже луна с одного бока подрумянилась от трескучего жара. На деревья, обступившие поляну, ложились гигантские надломленные тени пляшущих вожатых. Таин «Шарп» включили на полную мощность – и в белесую полутьму березовой рощи несло:

Can't buy me love, can't buy me love...

Вообще-то в лагере был строжайший сухой закон, но поляна располагалась за территорией детского учреждения, поэтому пили много: водку, вино, пиво... Баянистка Оля по-семейному, с укором хватала Старвожа за руку, несущую организму очередной стакан с жидким счастьем. После ухода Зои Игорь остался за главного, но нижняя губа окончательно вышла у него из повиновения, поэтому осуществлять полноценное руководство ночным праздником он не мог. Однако и без него гулянье шло, как положено, весело. Повариха Настя жарила шашлык, нанизывая на длинные шампуры большие куски свинины, побелевшие в уксусной закуске. Кокотов заметил, потом еще несколько дней после вожатского костра в пионерских котлетах содержание мяса достигало почти вегетарианского уровня.

Костер постепенно изнемог и, устало мерцая, улегся на землю, изредка, словно спросонья, вскидывая огненную голову. Теплый воздух был напоен ночными ароматами и вызвал к любви. Педагогический коллектив с интересом наблюдал, как на глазах общественности завязывается роман разведенной руководительницы кружка мягкой игрушки Веры и женатого фотографа Жени. Дважды они конспиративно, один за другим, уходили в березовый сумрак – целоваться. Вернувшись, Вера бурно дышала, ладонью усмиряя вздымавшуюся грудь, а Женя хмурился, трепеща ноздрями, как боксер, которому не дали добить поплывшего соперника. В третий раз, когда закончившуюся водку сменила мадера, они, торопливо поев шипящего шашлыка, ушли в ночь без возврата.

Тая мгновенно, буквально с первого глотка запьянела, громко смеялась и, отмахиваясь от пристающих мужчин, танцевала у костра одна. Это был какой-то странный, неведомый Кокотову танец, иногда в нем угадывался модный в ту пору «манкис», иногда – что-то похожее на одиночный вальс... На девушке были узенькие бриджи и просторная белая майка с надписью «Make love not war!», надетая прямо на голое тело, о чем волнующе свидетельствовали выпиравшие соски. Чтобы отвлечь облюбованного юношу от грешного зрелища, Галина Михайловна, интимно прикинув, шептала, что у нее в библиотеке есть специальный шкаф,

где хранятся книжные дефициты: «Анжелика», Сименон, Саган, Дрюон, Пикюль, Проскурин, Стругацкие, зарубежные детективы, антология мировой фантастики... И даже «Декамерон»!

– Заходи, дам почитать! – со значением пригласила она.

От нее так сильно пахло скверными духами и немолодым вождением, что Кокотов замутило, хотя, впрочем, он после водки пил крымскую мадеру и даже «Фетяску». Тем временем наглый Мантулин оторвался от Екатерины Марковны, кормившей его, как сына, лучшими кусками шашлыка, и ввязался в одинокий танец Таи, на которую уже не обращали внимания: ну извивается себе – да и ладно! Он хамовато, как пэтэушник, облапил девушку и, грубо подчиняя ее вольные движения, заставил топтаться на одном месте, пошло раскачиваясь из стороны в сторону, а потом полез к ней под майку, сохраняя при этом на лице выражение полного равнодушия.

– Fuck off! – крикнула Тая и попыталась вырваться.

– Тихо! – Витька прижал ее еще крепче.

Кокотов хотел подняться на выручку, но библиотекарша удержала. Старвож тоже пытался призвать к порядку, однако ему окончательно отказали не только нижняя губа, но и все остальные части тела. Полнота власти перешла к Ник-Ник. Он решительно подошел к Мантулину, который был выше его на голову, и сказал голосом народного дружинника:

– Прекратить безобразие! Немедленно!

– Чего-о?! – Верзила презрительно глянул вниз.

– Прекратить! – повторил Ник-Ник, выдернул Витькину пятерню из-под Таиной майки и заломил ему руку за спину со сноровкой самбиста.

– Ой, ломаешь!

– Сломаю!

– Сдаюсь! – дурным голосом взвыл Мантулин.

И педагогический коллектив рассмеялся – прежде всего от этого ребячьего «сдаюсь». Повариха Настя бросилась физруку на шею, будто он с риском для жизни обезвредил опасного преступника. И только тут все заметили, что Тая сидит на траве и жалобно всхлипывает. Ник-Ник в руководящем упоении строго обзрел подчиненных, внимательно вглядываясь в каждого, словно взвешивая за и против. Наконец ткнул пальцем в Кокотова и приказал:

– Отведешь ее домой! Под личную ответственность!

– Николаич, давай лучше я отнесу! – вызвался Витька.

– Не надо! Не умеешь... – отрезал физрук.

Тая жила в клубе, в комнатке под самой крышей, рядом с кружком рисования. Шла она сама, но иногда ее шатало, и девушка хваталась за сопровождающего, чтобы не упасть. Андрей подхватывал, очень осторожно, боясь, что художница подумает, будто он хочет воспользоваться ее пьяной вседоступностью. Один раз, удерживая девушку от падения, он случайно тронул ее грудь – и тут же отдернул руку, точно обжегся...

По дороге Тая без умолку говорила про луну, которая всегда сводит ее с ума, про «предков», которые ничего вообще не понимают в жизни, про какого-то Даньку, который после того, что случилось на даче, никогда на ней теперь не женится... Несколько раз она спрашивала, как зовут сопровождающего, но тут же забывала. В ее мансарде пахло парфюмерией и масляными красками. У окна стоял раскрытый этюдник: на картоне был нарисован рыжекудрый ангел, сидящий на облаке и зашивающий золотыми нитями свое разорванное крыло, разложенное на коленях.

– Нравится? – спросила Тая.

– Очень!

– Тебя как зовут? – снова спросила она.

– Андрей...

– Ты хороший мальчик! Не такой, как они. А Данька – вообще скотина! И Лешка – тоже скотина...

Она, шатаясь, подошла вплотную к Кокотову, положила ему руки на плечи, встала на цыпочки и вдруг впилась в его губы пьяным сверлящим поцелуем. Андрей от неожиданности попятился, потерял равновесие и с размаху упал на кровать, спружинившую, как батут.

– Сволочь!

– Кто? – похолодел он.

– Данька! Ему для друга ничего не жалко! Понимаешь?! Меня ему не жалко! И мне тоже теперь себя не жалко!

Одним одаривающим движением она стянула с себя майку. Грудь у нее была маленькая, почти мальчишеская, зато соски крупные и красные, точно воспаленные. Плечи покрыты веснушками. В следующий момент Тая, держась за стул, вышагнула из бриджей, павших на пол вместе с черными трусиками. Бедра у худенькой художницы оказались умопомрачительно округлые, а рыжая треугольная шерстка напоминала лисью мордочку с высунутым от волнения влажным розовым язычком.

Насыщаясь этим невиданным зрелищем, Кокотов ощутил во всем теле набухающий гул.

– Ну? – Тая наклонилась к нему, взяла его руки и положила себе на грудь.

Соски были такими твердыми, что при желании на них можно было повесить что-нибудь, как на гвоздики.

– Нравится?

– Да... – еле вымолвил он сухим ртом.

– Раздаться!

Андрей вскочил и начал срывать с себя одежду, боясь, что вот сейчас эта ожившая греза подросткового одиночества исчезнет или Тая передумает, обидно расхохочется и оденется. А если даже не передумает, то он в свой первый раз обязательно сделает что-нибудь не так и будет позорно уличен в полном отсутствии навыков обладания женщиной. Но художница с благосклонным удивлением посмотрела на Кокотова, оценив его дрожащую готовность.

– Вот ты, значит, какой! – произнесла она фразочку из популярной в те годы юморески и толкнула вожатого на постель.

Он снова упал навзничь, а Тая, засмеявшись, тут же с размаху его оседлала. (Так, должно быть, кавалерист-девица Дурова вскакивала на своего верного коня, чтобы мчаться в бой.) Андрей испугался страшного членовредительства, с которым неизвестно потом в какой травмпункт и бежать, но художница умелой рукой в самый последний миг спасла Кокотова для двух будущих браков и нескольких необязательных связей. Едва он успел осознать влажную новизну ощущений, как в голове одна за другой начали вспыхивать шаровые молнии. Прошивая насквозь тело и отнимая рассудок, они мощно взрывались в содрогающихся чреслах Таи.

– Вот ты какой! – одобрительно прошептала она, когда молнии закончились.

И засмеялась, но уже не с гортанной хмельной отвагой, а тихо и грустно.

– А ты? – спросил он.

Несмотря на нулевую практическую подготовку, теоретически Кокотов был подкован, ибо читал «Новую книгу о супружестве» и, конечно, знал, что женщина тоже должна испытывать во время любви нечто подобное.

– Я? У меня до конца никогда не получается.

– Почему?

– Не знаю. Но мне все равно хорошо...

– А вдруг со мной получится?

– Нет, не получится!

И она почти без сил сползла со своего скакуна, как, наверное, слезала после жаркого боя кавалерист-девица Дурова, порубав французов без счета.

- Иди! Извини, я забыла, как тебя зовут?
- Андрей.
- Иди, Андрюш! А то они там еще что-нибудь подумают...
- Ну и пусть!
- Нет, не пусть! Я хочу спать...

Он вышел из клуба. Над деревьями, в том месте, где горел костер, стоял световой столб: наверное, снова подбросили дров. Счастливцев сначала хотел затеряться в ночном лесу, лечь на травку, высматривать звезды и ловить в теле блуждающие отголоски случившегося, привыкая к очнувшемуся в нем новому, мужскому существу...

Но Кокотов понимал, что его отсутствие вызовет подозрения и повредит Тае. Вернувшись на поляну, он обнаружил, что костер действительно снова разожгли – и прыгают через огонь. Ник-Ник, как и положено спортсмену, перемахивал пламя отточенными «ножницами», остальные как придется, но с пронзительными языческими воплями. Не прыгал только Игорь – он недвижно лежал на траве, заботливо укрытый казенным байковым одеялом. Его непослушная нижняя губа мелко дрожала от храпа.

- Отвел! – доложил Кокотов физруку.
- Как она?
- Спит.
- Молодец!

Подбежал Мантулин – с початой бутылкой, таинственно отвел в сторону и радостно спросил:

- Ну что, трахнул?
- Не-а...
- Ну и дурак!

Кокотов был поражен тем, что никто ни о чем не догадался, даже не заметил в нем громадной, тектонической перемены. Ведь с поляны полчаса назад ушел пустяковый юнец, а вернулся новый человек, мужчина, знающий тайну женского тела не понаслышке! Этого не обнаружил никто, кроме, пожалуй, бдительной библиотечарши. Чтобы окончательно отвести от Таи возможные подозрения, он близко подсел к Галине Михайловне и спросил, когда можно зайти за книжными дефицитами, но она, холодно глянув на него, ответила: «спецшкафом» лично распоряжается Зэка. И отодвинулась...

Но Кокотову было теперь наплевать. Он уже томился еще одним, совершенно новым ощущением. Это была нежно изматывающая телесная скорбь, переходящая в отчаяние. Перебирая в памяти мгновения обладания, Андрей почти плакал от сладострастной незавершенности объятий, от мучительного недовольства собой, казнилось, что не сумел всю эту доставшуюся ему женщину сделать до невозможности своей, до последней тайны, до умиротворяющего, окончательного предела. И значит, теперь надо только дожить до следующей встречи – и достичь предела, стать для Таи всем-всем-всем! Конечно, он тогда еще не подозревал, что умиротворяющий предел в любви невозможен и приходит только вместе с охлаждением. А как стать для женщины всем-всем-всем, не знает никто. Даже Сен-Жон Перс...

4. Одинокий Бизон

На следующее утро Кокотов столкнулся с Таей в столовой. Его сердце, вспыхнув, оторвалось и с дурманящей легкостью полетело куда-то вниз. Но художница, бледная после вчерашнего, лишь кивнула ему с улыбкой, в которой не было даже намека, тени намека на то, что между ними произошло. Он порывался заговорить, но она приложила палец к губам и покачала головой.

Промучившись два дня, Андрей отправился в изостудию, якобы для того, чтобы разыскать пионера, не пришедшего на линейку. Дверь была приоткрыта, он затаился и наблюдал, изнывая от непривычного еще чувства недостижимости близкой тебе женской плоти. За деревянными, перемазанными краской мольбертами сидели несколько мальчиков и девочек, в основном – малышня. Тая медленно ходила по комнате, рассматривала рисунки, наклонялась, что-то объясняя, брала из детских рук кисточки и поправляла, а наиболее успешных ласково, почти по-матерински гладила по голове и целовала. Именно эта материнская повадка у женщины, которую он знал в невыразимой на человеческом языке откровенности, обдала его такой волной вожделения, что запыхало лицо и заломило в висках.

Тая наконец заметила его и вышла в коридор.

– Послушай, – сказала она, – не надо сюда приходить!

– Я ищу... Воропаева...

– Какого еще Воропаева? Не надо этого! Ничего не было! Понял, как там тебя, Андрюша? Ни-че-го...

Кокотов кивнул, еле сдерживая слезы. Все следующие дни даже сердце его билось в этом странном, болезненном ритме: ни-че-го-ни-че-го-ни-че-го. Но он знал, все равно снова пойдет к ней, надо лишь дожидаться правильного повода. Чтобы не так страдать, несчастный вожатый с головой окунулся в педагогическую работу и тоже завел себе туго свернутую газетку, но пионеры его почему-то все равно не слушались. Тогда Людмила Ивановна, у которой муж не ночевал дома третью ночь, отозвала напарника в сторону и открыла ему страшную воспитательную тайну: в газетную трубочку была вложена увесистая палка. Кокотов сбегал в лес, вырезал толстую лещину, завернул в свежий номер «Комсомольской правды», и к вечеру в первом отряде воцарилась идеальная дисциплина. Дружно стали готовиться к карнавалу – главному событию смены.

Между Андреем и Людмилой Ивановной наладилось полное взаимопонимание. Выяснилось, что мужа, оказывается, просто отправляли в срочную командировку, и женщина прямо-таки светила возрожденным семейным счастьем, изливая его и на своего младшего коллегу. Накануне карнавала они в тихий час пили чай с мятой и рассуждали о том, во что бы им самим наряжаться. С детьми уже определились: отряд имени Гайдара в полном составе превращался в шайку пиратов. Для этого достаточно завязать носовым платком один глаз, нарисовать жженой пробкой усы и надеть тельняшки, их на складе хранилась целая стопка – для обязательного в самодеятельности танца «Яблочко».

Людмила Ивановна колебалась. С одной стороны, ей очень хотелось одеться Белоснежкой, про которую когда-то в лагере ставили детский мюзикл. Костюмы семи гномов со временем самоутратились, а вот платье Белоснежки (ее всегда играл кто-то из взрослых) сохранилось и было Людмиле Ивановне впору. Но с другой стороны, на него претендовала библиотекарьша Галина Михайловна, от отчаяния закрутившая роман с лагерным водителем Михой. К тому же отрываться от пиратского коллектива опытная воспитательница считала непедagogичным и потому склонялась ко второму варианту – нарядиться атаманшей. Практиканту она предложила роль своего заместителя.

– Да, пожалуй, атаманшей – правильнее! – грустно кивнул Кокотов.

– А ты?

– Я? Я лучше буду Одиноким Бизоном... – вымолвил он и едва успел закрыть ладонью выпрыгнувшую на щеку горячую слезинку.

Вообще-то сначала Андрей хотел нарядиться индейским вождем Чингачгуком, но, критически оглядев себя в зеркале, понял, что никак не тянет на мускулистого Гойко Митича, исполнявшего в кино роли продвинутых краснокожих. И тогда Андрей вдруг вспомнил книжку «Ошибка Одинокого Бизона», читанную в детстве. На обложке был изображен закутанный в попону печальный индеец, стоящий возле догорающего костра. Образ как нельзя более соот-

ветствовал его нынешнему душевному состоянию. Имелись и другие аргументы за. Во-первых, можно стать полноценным вождем, не предъявляя посторонним свою неиндейскую мускулатуру, а во-вторых, для этого превращения требовалось немного: байковое одеяло, несколько вороньих перьев, обильно валявшихся под липами, ну и, конечно, красная акварель или гуашь, чтобы окончательно обернуться дикарем. А за ней надо идти к Тае. И это было счастьем!

– Эх ты, Одинокый Теленок! – Людмила Ивановна потрепала Кокотова по голове с мягким превосходством женщины, обладающей, в отличие от напарника, верным и любящим спутником жизни. – Выкинь ее из головы! Она нехорошая.

– Почему?

– Потому!

И воспитательница рассказала, как вчера вечером к Тае на красной «трешке» приезжал патлатый парень с огромным букетом сирени, а укатил, как подтвердили за завтраком незаинтересованные наблюдатели, только сегодня утром.

– Ты куда, Андрей? – только и успела крикнуть она.

В изостудии Таи не оказалось. Он поднялся в мансарду, постучал.

– Кто там еще? – весело отозвалась художница.

– Я... – Он вошел.

На закрытом этюднике стояла трехлитровая банка с огромным лиловым букетом. В комнате тяжело пахло сиренью и еще каким-то странным, не совсем табачным дымом. (О том, что так пахнет «травка», он узнал много позже.) Взъерошенная постель хранила очевидные следы любовного двоеборья. На девушке была все та же длинная майка с надписью «Make love not war!». Тая безмятежно улыбалась, глаза ее горели, как два туманных огня.

– Ой, Андрюша! Привет! – Она бросилась к нему и поцеловала в щеку. – Тебе чего?

Движения у нее были странные, какие-то угловатые, неуверенные.

– Мне... я... Мне краска нужна... Красная или коричневая...

– Зачем?

– Для карнавала.

– А ты кем хочешь нарядиться?

– Я? Одиноким Бизоном.

– Кем? – Она захохотала и, согнувшись от смеха пополам, повалилась на кровать, задержав голыми ногами.

Трусики под майкой не оказалось, и открылась тайная рыжина, отчего у Кокотова в голове запрыгали малюсенькие и беспомощные шаровые молнии.

– Бизоном?! Ой, не могу... Одиноким!! Помогите!

– А ты кем? – оторопел он, не сводя глаз с ее лисьей наготы.

– Кем? – Она, спохватившись, одернула майку. – Ну хотя бы хиппи...

– Почему хиппи?

– Потому что это – люди! Ты человек, значит, будешь хиппи!

– А ты кем тогда нарядишься?

– Не знаю... Может, крольчихой... Отвернись!

Он послушно отвернулся, по шорохам воображая, что же происходит у него за спиной.

– Повернись! Вот, бери! – Она, уже в джинсах и батнике, протягивала ему свою майку «Make love not war!». – А еще мы сделаем вот что... – Тая метнулась по комнате, схватила ножницы, вырезала полоску ватмана и написала на ней кисточкой «Нірру» – потом слепила концы клеем так, что получилось что-то наподобие теннисной повязки. – Вот! Так хорошо! Тебе идет! – сказала она, надвинув бумажную ленту ему на голову. – А теперь иди, иди, маленький! Не мешай! Мне хорошо...

– Я не уйду.

– Ну, пожалуйста!

– Нет. Кто у тебя был?
– Данька...
– Ты же сказала, он скотина...
– Что-о! Вот ты, значит, какой?! – Ее затрясло от ярости, а веснушки на покрасневшем лице стали фиолетовыми. – Пошел вон, сосунок! Урод!
...Кокотов брел по лагерю, как слепой по знакомой улице. В ледяном небе горело жестокое солнце. Жизнь была кончена. Горн с бодрой металлической хрипотцой звал пионеров восстать от здорового послеобеденного сна...

5. Михаил Николаевич

Утром, через два дня после карнавала, в комнату влетел напуганный Ник-Ник и закричал:

– Скорее, скорее! Зовут!

У административного корпуса стояла черная «Волга». «Сергей Иванович снова к Зое приехал. Соскучился...» – подумал Кокотов и ошибся.

Зэка сидела за своим директорским столом, но сидела как-то странно – не начальственно: молчала и сцепляла в змейку канцелярские скрепки. Она так всегда делала, когда сердилась. Цепочка была уже довольно длинная. А за приставным столом устроился крепкий мужик лет тридцати. Белая рубашка. Галстук. Лицо совершенно не запоминающееся. Стрижка, как у военного, но стильная, как у гражданского пижона. На стуле висел его пиджак, явно импортный, светло-серый с перламутром. На столе перед незнакомцем лежала тонкая дерматиновая папка на молнии – такие выдавали делегатам слетов и конференций. Увидев Андрея, Зэка нахмурилась и объявила:

– А вот и Кокотов!

– Присаживайтесь! – кивнул стриженный, не встав и не подав руки. – Вас как зовут?

– Андрей...

– А отчество?

– Львович.

– Я так почему-то и думал.

– Но можно и без отчества.

– Нельзя! – Он посмотрел на вожатого с обрекающей улыбкой. – Нельзя вам теперь, Андрей Львович, без отчества! Никак нельзя. Вот ведь какая петрушка. Вы ведь, кажется, студент второго курса Педагогического института имени Крупской?

– Третьего... на третий перешел...

– А я сотрудник Комитета государственной безопасности. Ларичев Михаил Николаевич. – Он вынул из нагрудного кармана удостоверение и раскрыл: на снимке стриженный был одет по форме, а выражение лица, остановленное фотографом, равнодушно-карательное.

Кокотов оторопел и ощутил в желудке режущую тошноту. Ларичев, понятно, заметил смятение и с какой-то добродушной брезгливостью довольно долго молча рассматривал потрясенного вожатого.

– Наверное, мне лучше выйти... чтобы вы могли спокойно поговорить? – вдруг предложила Зэка и собрала «змейку» в комок.

– Да нет уж! Раз это случилось в вашем лагере, останьтесь, пожалуйста! – холодно попросил Михаил Николаевич, нажимая на слово «вашем».

– А что случилось? – спросил Андрей мертвым голосом.

– Не догадываетесь? – Чекист звучно открыл молнию и вынул из делегатской папочки большую фотографию, судя по оторванным уголкам, приклеенную, а потом содранную. – Это вы?

– Где?

– Вот! – он постучал по снимку, сделанному лагерным фотографом Женей во время карнавала.

В центре стояла Людмила Ивановна, одетая атаманшей, рядом с ней Кокотов – в майке с надписью «Make love not war!». На лбу у Андрея красовалась бумажная лента со словом «Ніру». За ними толпились весь первый отряд, изображая пиратскую ватагу. Сзади виднелись Таины уши, поднимавшиеся над пионерской толпой: она сделала себе из ватмана длинные заячьи уши. Очень смешные...

– Так это вы или не вы? – повторил вопрос Михаил Николаевич.

– Я... – ответил Кокотов.

– Волосы у вас всегда такие длинные?

– Н-нет, просто отросли...

– Ага... Выходит, вы, Андрей Львович, у нас хиппи?

– В каком смысле?

– В прямом. Состоите в организации хиппи, так или нет? И врать не надо!

– Он комсомолец, – хмуро вставила Зэка.

– «Молодую гвардию» фашистам тоже комсомолец сдал! – понимающе усмехнулся Ларичев. – Кто еще входит в вашу организацию?

– Никто.

– Так не бывает!

– Я не хиппи! – пролепетал Кокотов, наконец сообразив, в какую жуткую историю попал. – Это же просто карнавальный костюм...

– Странный выбор для пионерского карнавала! Не находите? Майка ваша? Отвечайте!

– Майка... Майка... – Андрей внутренне заметался.

В этот момент Зэка уронила на стол металлическую змейку, которую во время разговора пересыпала с ладони на ладонь. Вздвигнув от звука, он глянул на директрису и увидел, как она чуть заметно покачала головой.

– Так чья это майка? – повторил Ларичев. – Ваша?

– Нет...

– А чья?

– Нашел...

– Да что вы! И где же?

– На Оке.

– Что вы там делали?

– Пионера искал.

– В каком смысле? Что вы мне голову морочите! – Михаил Николаевич начал сердиться.

– Дети иногда, очень редко, убегают на реку купаться... в индивидуальном порядке. Мы это решительно пресекаем! – спокойно разъяснила Зэка. – А на берегу туристы часто вещи забывают. После пикников...

Ларичев посмотрел на директрису долгим взглядом.

– Допустим, майку вы нашли. А вот эту полоску на лбу тоже нашли? – он снова постучал пальцем по фотографии.

Ища подсказки, Кокотов посмотрел на Зэка, но ее лицо было непроницаемо, как у человека, сидящего в президиуме.

– Полоска эта моя... – сознался он, не в силах ничего придумать...

– Все-таки ва-аша! – сочувственно кивнул чекист. – И это слово вы сами написали?

– Сам...

– Тогда я вас, Андрей Львович, снова спрашиваю: почему вы нарядились именно хиппи? Вот это кто? – Он ткнул в Людмилу Ивановну.

Выглядела она уморительно! Глаз закрыт черной повязкой, на груди переходящий красный выпел «За образцовую уборку территории», а на голове белая курортная шляпа с бахромой – такие продавались в Сочи.

– Это кто? – повторил чекист.

– Это воспитатель первого отряда Шоркина, между прочим, отличник производства, – голосом, каким в телефоне сообщают точное время, ответила вместо вожатого директриса.

– Вижу, что отличница! – кивнул Ларичев. – И на карнавал оделась так, как и положено нормальному советскому человеку. Пираткой! Никаких вопросов к гражданке Шоркиной у меня нет. А вот почему вы, Кокотов, в хиппи нарядились? Почему?

– Потому что хиппи – это вызов буржуазному обществу, протест против лживой морали мира чистогана! – выпалил Андрей то, что прочел недавно, кажется, в «Комсомольской правде» или в «Студенческом меридиане». – Я хотел морально поддержать передовую молодежь Запада. Понимаете?

– Понимаю! – ухмыльнулся Михаил Николаевич. – Give the world a chance! Так?

– Ага...

– А это кто? – профессионально чуя что-то, он показал пальцем на торчащие уши Таи.

– Это наша художница. Таисия Носик. Выпускница Полиграфического института. Комсомолка. И поверьте, в подпольной организации зайцев она не состоит! – ответила Зэка все тем же телефонным голосом, но с неуловимой иронией.

Кокотов, не удержавшись, хрюкнул от смеха. Нет, не из-за подпольной организации зайцев. Из-за Таиной фамилии. Он ее не знал. И ему вдруг стало легче оттого, что женщину, которая обозвала его «сосунком», зовут Носик. Тая Носик! Ха-ха! Михаил Николаевич тоже захохотал, приговаривая: «Подпольная организация зайцев. Ну скажете тоже! Ну вы даете!» Смеялся он долго, даже достал платок, чтобы вытереть выступившие слезы. Наконец чекист успокоился, посерьезнел, посмотрел на подозреваемого в упор и приказал:

– Руки покажите!

– Что?

Ларичев неожиданно и больно схватил вожатого за запястья и вывернул так, чтобы видеть внутренние локтевые сгибы с синими сплетениями вен. Они его явно разочаровали. Следов иглы он не обнаружил.

– Андрей Львович! – вдруг со зловещей теплотой спросил чекист. – Вы хотите закончить институт?

– Хочу... – похолодел студент.

– Тогда скажите правду! Последний раз вам предлагаю.

Подозреваемый снова поглядел на Зэку. Но ее лицо было скорбно непроницаемо.

– Я сказал правду... – словно откуда-то издалека ответил Кокотов.

– Ладно, Андрей Львович, идите! – устало махнул рукой чекист. – И не наряжайтесь больше хиппи! Никогда. Поняли?

– Понял.

– Шагайте! А мы тут с Зоей Константиновной о зайцах побеседуем.

6. Судьба

Когда Ларичев уехал, Зэка снова вызвала Кокотова. Директриса металась по кабинету, кричала, почти плакала, твердя, что он чуть не погубил свою молодую жизнь и ее беспорочную карьеру. Она из-за этой рыжей дряни Носик, путающейся с патлатыми наркоманами, едва не лишилась партбилета. Потом успокоилась, села и объяснила: благодарить надо, конечно, Сергея Ивановича, он позвонил буквально за десять минут до появления чекиста и предупредил об опасности, даже подсказал, как следует себя вести, и объяснил, что же такое произошло.

А случилось вот что: фотографии карнавала, сделанные Женей, отправили в Министерство, а там из них слепили стенгазету типа «Здравствуй, лето, здравствуй, солнце!» и вывесили возле профкома, чтобы родители смотрели и радовались, как их детишки весело отдыхают. И все бы ничего, но тут, будто на грех, в Москве хиппи провели, или только собирались провести, шествие с политическими лозунгами. Демонстрацию, конечно, прихлопнули в зародыше. Следом, буквально на другой день, от передозировки героина икнул хиппующий внук очень большого начальника, чуть ли не члена Политбюро. Вот тогда и завертелось: постановили разом «покончить с отдельными нездоровыми явлениями в молодежной среде», подняли на ноги КГБ, милицию, добровольные народные дружины. Можно вообразить, как всполошился мирный министерский особист, увидев в стенгазете вверенного ему объекта фотографию живого хиппи, свившего гнездо в детском оздоровительном учреждении. А где хиппи – там наркотики, антисоветчина и беспорядочные половые связи. Караул!

– Ну, ты все понял теперь, Одинокый Бизон? – спросила Зэка, мягко потрепав Андрея по волосам.

– Понял, – пробурчал Кокотов, обидавшись на болтливую Шоркину.

– Извини, что я тогда тебе про человека в метро не поверила! Кстати, если хочешь, можешь на вторую смену остаться поработать. У тебя какие планы?

– Никаких.

– Оставайся! Я тебе даже немного зарплату прибавлю, как ветерану педагогического труда. – Она улыбнулась.

– А Тая останется? – спросил Кокотов.

– Нет, Носик не останется. Выбрось ее из головы! Андрей, ты хороший, честный мальчик. Эта девица не для тебя. Поверь! Она уже уехала.

– Как – уехала?

– Я ее уволила. По собственному желанию. Вчерашним днем. Ну, остаешься?

– Даже не знаю... – сник Андрей.

– Вот и хорошо! Но волосы постриги! – Она снова потрепала вожатого по голове, на этот раз повелительно. – Кстати, на вторую смену приедет твоя однокурсница. Обиход. Елена. Знаешь?

– Знаю вроде...

– Ну и как она?

– Нормальная.

– Уже хорошо. – вздохнула Зэка.

...В институте Лену Обиход Кокотов почти не замечал, на курсе девушек было бессмысленно много. А здесь, в пионерском лагере, вдруг ее заметил: свежую, загорелую, с круглыми, в ямочках, коленками. Он и вообразить не мог, что путь к девичьему телу может быть таким коротким. Когда они вдвоем склонились над расстеленным на полу ватманом, рисуя отрядную стенгазету, искушенный Андрей взял и поцеловал Лену в то место, где шея, восхитительно изгибаясь, становится плечом. Конечно, Кокотов никогда бы этого не сделал, если б не Тая... А Лена схватилась за поцелованное место, словно ее ужалила оса, покраснела и прошептала: «Больше никогда... Никогда!» (О, эти два самых обманных женских слова – «Никогда!» и «Навсегда!».) После прощального вожатского костра, вокруг которого плясали, пели, но больше пили, они пошли гулять по июльскому рассветному лесу. И догулялись.

– Ты меня любишь? – спросила Лена, глядя на него из травы широко раскрытыми от удивления и страха глазами.

– Да! – честно соврал Кокотов и неумело овладел Невинномысском.

Через четыре месяца, когда обозначившийся Ленин живот, вызвав оторопь у родителей, стал слишком занимать однокурсников, они поженились...

Скифский взгляд *Дамский сказ*

1. Расточение тьмы

Из дремы воспоминаний Кокотова вывел стук в дверь, и, открыв глаза, он сначала не мог сообразить, который час. В комнате было темно. В окне светлел серый сумрак, перечеркнутый черными шевелящимися ветвями. Это мог быть вечер, превращающийся в ночь, могло быть и утро – час предрассветного расточения тьмы.

– Заходите, Дмитрий Антонович! – крикнул писатель, догадавшись, что это все-таки вечер и Жарынин пришел звать на ужин.

Андрей Львович сел на кровати, поставил ноги на коврик и взлохматил волосы, стараясь проснуться окончательно. Организм изнывал в обидчивой истоме насильственного пробуждения. Голова была мутной и тяжелой от забытых сновидений. Он потер виски и попытался продуматься. Снова раздался осторожный стук.

– Да заходите же, наконец!

Послышался скрип двери, а затем шорох легкого движения. Из коридора в комнату пролегла полоска света. Кокотов понял, что это не режиссер: тот не входил – а вторгался. Кроме того, впереди него всегда шла волна пряного табачного запаха, а сейчас вместе с неведомым гостем в помещение проник чуткий аромат надушенного женского тела.

– Вы спите? – спросил из прихожей голос Натальи Павловны.

– Нет! – счастливо ужаснулся Андрей Львович и змеиным движением оказался под одеялом, подтянув его к самому подбородку.

– Я, наверное, не вовремя? – забеспокоилась она. – Извините...

– Нет-нет, я уже проснулся! Но я еще пока лежу...

– Это ничего. Можно зажечь свет?

– Можно. Выключатель справа от двери.

– Я знаю. У меня такой же номер.

Вспыхнула люстра. Комната озарилась ядовито-желтым, как лимонная «фанта», светом. За окном же, наоборот, стало совсем темно. Кокотов зажмурился от внезапной яркости и ощутил во рту обидную несвежесть. Когда он открыл глаза, на пороге стояла Лапузина. Ее красивое лицо было печально. В своем белом плащике Наталья Павловна напомнила ему молодую докторшу, приходившую к ним домой, если он, мальчишкой, заболел. Это сходство стало еще больше, когда гостя присела на стул рядом с кроватью и, окутав Андрея Львовича своим парфюмерным облаком, положила ему на лоб прохладную ладонь.

– Вы здоровы?

– Да. Просто устал...

– Я тоже устала. У меня сегодня был неудачный день. Знаете, в такие минуты хочется поплакаться кому-то, кого знаешь давно. Очень давно. Вот я и пришла к вам...

– Ко мне?

– К вам... Вы меня, конечно, так и не вспомнили?

– Н-нет, извините...

– Не извиняйтесь! Я же была тогда ребенком... подростком...

– Мы жили по соседству? – предположил Кокотов.

Мы жили по соседству,
Встречались просто так.

Любовь проснулась в сердце,
Сама не знаю как... —

тихонько напела Наталья Павловна. — Нет. Не угадали. Холодно! — Она даже поежилась.
— Можно закрыть форточку, — предложил недогадливый писатель.
— Ну, Андрей Львович, просыпайтесь же! Вы забыли игру в «холодно-горячо»?
— А-а! Да-да... Подростком? Подростком... Ага-а! — обрадовался он, вспомнив свой недолгий педагогический опыт. — Я был у вас учителем... в школе. Да?

— Теплее. Но не в школе. Ну, вспоминайте же!

— Вы обещали подсказать! Одно слово...

— Пожалуйста: «Березка».

— «Березка»?

— А что вы так удивленно смотрите? Разве вы никогда не работали вожатым в пионерском лагере «Березка»?

— Работал...

— Тогда напрягитесь! Первая и вторая смена. Первый отряд. Наташа. Кроме меня, в отряде больше Наташ, как ни странно, не было.

— Наташа? Ну конечно! Ну как же! — воскликнул бывший педагог, однако на самом деле ничего не вспомнил, кроме шеренги тусклых подростковых теней в красных галстуках. — Значит, это теперь вы! Кто бы мог подумать! Сколько же лет прошло?

— Много. Слишком много.

— Да-да... Но вы отлично выглядите!

— Спасибо. А за встречу надо бы и выпить! — мечтательно предложила она.

— Разумеется! Но у меня... у меня... — засмутился Кокотов. — Я сбегаю к Жарнину. Займу...

— Не надо куда бегать, Андрей Львович! Современная женщина с пустыми руками в гости не ходит.

Она вышла в прихожую, вернулась с пакетом «Суперпродмага» и выставила на стол бутылку красного французского вина, коробку швейцарского шоколада и шикарно упакованную кисть янтарного винограда. Все ягоды в грозди были совершенно одинакового размера, напоминая шарики, извлеченные из большого подшипника и сложенные в виноградную пирамидку. Затем Наталья Павловна изучила посудное содержимое серванта, извлекла оттуда два пыльных фужера и подозрительно их осмотрела.

— Пойду вымою. А вы пока... Штопор там! — Она кивнула на нижние створки серванта, подклиненные сложенной бумажкой.

— Откуда вы и это знаете?

— Здесь в «Ипокренино» все одинаковое. Кроме людей.

Она ушла в ванную и включила воду. Кокотов стремглав выскочил из-под одеяла, сорвал с ног дырявые носки, добыл из чемодана свежие, натянул, затем по-солдатски быстро оделся, пригладил пятерней волосы и даже успел для освежения дыхания пшикнуть в рот дезодорантом «Superbody» из баллончика, счастливо забытого на столе. Глянув на себя в зеркальный мрак ночного окна, он остался доволен. Когда Наталья Павловна, нарочно задержавшаяся в ванной, чтобы дать ему время привести себя в порядок, вернулась в комнату с вымытыми бокалами и виноградом, Андрей Львович уже второй раз вворачивал в пробку старенький штопор. С первой попытки тот сорвался.

— Погодите! — поняв, в чем дело, подсказала она. — Переверните бутылку и подержите вниз горлышком. Вот так. Теперь дергайте!

Чпок!

— Минутку! — Она взяла и внимательно осмотрела пробку. — Нормально. Пить можно.

Кокотов, как и положено, плеснул немного вина сначала себе – и на рубиновой поверхности закружились кусочки раскрошившейся пробки. Потом он галантно налил гостю, а в завершение дополнил и свой бокал до нормы.

– За нечаянную встречу! – произнесла Лапузина с улыбкой.

– За встречу! – Он торопливо отхлебнул, чтобы заглушить дезодорантовую гнусность во рту.

– Роскошное вино! – похвалила она, прикрыв глаза от удовольствия.

– Терпкое, – подтвердил Андрей Львович, сложив рот в дегустационную гузку, хотя на самом деле никакого вкуса после «Superbody» не почувствовал.

– Очень тонкий фруктовый оттенок...

– Смородиновый, – уточнил писатель, незаметно смахнув с губ пробочный сор.

– Знаете, о чем я подумала, когда вы наливали вино?

– О чем?

– Я подумала: почему-то считается, что первому мужчине женщина достается во всей своей чистоте и непорочности...

– А разве это не так?

– Разумеется, нет. Первому мужчине достается весь девичий вздор: гордыня неведения, подростковые комплексы, глупые надежды, случайный разврат, происходящий от незнания собственной души и тела... В общем, все эти крошки и мусор... – Она кивнула на кокотовский бокал. – Зато позже, с опытом, женщина становится по-настоящему чистой, непорочной, верной, цельной и пьянящей, как это вино. И счастлив мужчина, его пьющий!

Они чокнулись и отхлебнули еще.

– Вам не нравится вино? – проницательно усомнилась Наталья Павловна. – Или вы со мной не согласны?

– Ну что вы?! Чудо! – отозвался Кокотов, зажевывая виноградом жгучую химию дезодоранта. – Возможно, вы в чем-то и правы...

– В чем же я права?

– Женщины, с которыми лучше завершать жизнь, нравятся нам обычно в самом начале. И наоборот: те, с кем стоит начинать свою жизнь, влекут нас лишь в зрелые годы.

– Роскошная мысль! – воскликнула Лапузина и посмотрела на Кокотова с тем особенным интеллектуальным любопытством, которое дамы удовлетворяют обычно только в постели. – Надо обязательно почитать ваши книги!

– Я работаю больше под псевдонимами.

– Это не важно. Фамилия не имеет значения. Оттого, что я двенадцать лет назад сделалась Лапузиной, я не перестала быть Обояровой...

– Обояровой?!

– Обояровой! Ну теперь-то вы меня наконец вспомнили?

– Вспомнил!

2. Влюбленная пионерка

Еще бы! Как не вспомнить, если из-за этой мерзавки он чуть в тюрьму не сел! А дело было как раз наутро после овладения Невинномысском. Счастливо утомленный, Кокотов лежал в своей вожатской келье, предаваясь, быть может, самому упоительному занятию: лелеял нежные образы ночного свидания, уже освобожденные услужливой памятью от ненужных земных подробностей, раскладывал, поворачивал, разглядывал их так и эдак, гордо перебирал, как в детстве – свою коллекцию немногочисленных монет. И тут в комнату влетела бледно-серая, точно казенная простыня, Людмила Ивановна. Держась за сердце, она прошептала: «Обоярова пропала!» – «Как пропала?! – Андрей вскочил, схватил с тумбочки, словно табельное оружие,

воспитательно свернутую газетку и собрался бежать на поиски прямо в трусах. – Когда пропала?»

Из задыхающегося рассказа выяснилось, что хватились за завтраком, но девочки, спавшие на соседних кроватях, уверяли, что когда их разбудил утренний горн, Наташина постель была уже пуста. Возникло предположение, что она раненько ушла встречать на Оку рассвет – зрелище действительно необыкновенное. И хотя в планах культурно-массовых мероприятий значился коллективный поход «Здравствуй, солнышко!» (был даже составлен поотрядный график), дети все равно бегали встречать зарю в одиночку или чаще попарно. Солнцепоклонники хреновы! Ну хорошо, допустим, встретила. Почему не вернулась к подъему или к завтраку? Куда делась? Ясно куда: полезла купаться, а там течение и ледяные ключи бьют! И это было самое страшное!

– Вы знаете, кто у нее дед? Академик! – кричала оповещенная Зэка.

– А хоть бы и слесарь! – пробормотал Ник-Ник. – Все равно девочку жалко...

– А может, у нее... как сказать... роман с каким-нибудь деревенским? – предположила медсестра Екатерина Марковна, совсем к тому времени запутавшаяся с лагерным шофером Михай.

– У Обояровой?! Да вы с ума сошли!

– Но ведь Мухавина в прошлом году бегала в деревню к киномеханику. А у нее отец – главный инженер!

– Замолчите! – застонала директриса. – Обоярова еще совсем девочка. А ваша Мухавина...

За Мухавину, которая в свои пятнадцать (по рассказам очевидцев) была уже на редкость грудобедрой девицей, Зэка разбирали на заседании парткома министерства. Только неопровержимое медицинское свидетельство о том, что до кинокрута девчонка бегала еще к кому-то, причем с вовремя ликвидированными последствиями, спасло Зою от выговора с занесением.

– Ищите, ищите! – твердила она, глядя на Кокотова с мольбой и обидой.

В ее взгляде было все сразу: и запоздалое сожаление, что она взяла этого бестолкового студента на вторую смену, и напоминание о том, как спасла его от чекиста Ларичева, и упрек в роковой небдительности. И еще, конечно, – тоска хорошей женщины, вынужденной существовать в безысходном двоемужии...

Весь педагогический коллектив, усиленный старшеотрядниками, прочесывал окрестности лагеря и прибрежный лес. По Оке плавала, тарыхтя, моторная лодка спасателей, прощупывавших дно багром и бороздивших «кошкой». Вызванный из Москвы водолаз обшарил русло, путаясь в обрывках сетей. Безрезультатно.

Кокотову с самого начала помогала в поисках Лена, примчавшаяся при первом известии о катастрофе. И хотя она независимым видом старалась представить случившееся ночью чем-то несущественным, даже пустячным для серьезных и взрослых людей, в ее поведении ясно проглядывалось родственное участие. Но когда Андрей попытался напоминающим движением коснуться ее груди, она отпрянула и гневно покраснела, мол, нашел время!

К вечеру надежд почти не осталось. Смеркалось, и поиски прекратили. Старвож Игорь, подавший документы в высшую комсомольскую школу, от отчаяния в кровь искусал свою неуправляемую нижнюю губу. Медсестра Екатерина Марковна уже во второй раз делала Людмиле Ивановне укол магнезии. Лена молча гладила Кокотова по руке, давая таким образом понять, что будет ждать его даже из тюрьмы. В кабинете Зэка стоял густой запах корвалола и валерьянки. Надо было звонить в министерство и родителям утраченного ребенка. Вожатые и педагоги молчаливо собрались возле административного корпуса и напоминали родственников, ожидающих выноса тела. Дети, отправленные по палатам, пугали друг друга страшными рассказами про утонувших пионеров, устраивающих по ночам свои потусторонние сборы и линейки...

Именно в этот момент заплаканную Обоярову в лагерь за руку привел колхозный агроном, обходивший покосы и нашедший девчонку в стоге сена...

– Наташенька, ну как же ты так?! – запричитала от радости Людмила Ивановна, а давно бросившая Зэка закурила.

– Ну, теперь-то вспомнили? – спросила Наталья Павловна.

– Вспомнил... – кивнул Кокотов.

В его озарившемся сознании как живая возникла та, давнишняя Обоярова – стриженная девочка с бледным большеротым лицом, впалой мальчишечьей грудью и длинными худыми ногами. Сбитые коленки были намазаны зеленкой. В общем, ничего особенного, обыкновенный заморыш-подросток, изнуренный своим растущим организмом. Но в ее заплаканных глазах будущий писатель с удивлением уловил некое призывное высокомерие, которое бывает только у красивых и абсолютно уверенных в себе женщин. Казалось, она уже тогда знала, в кого вырастет, и презирала всех за то, что они этого еще не понимают.

– Давайте выпьем за узнавание! – предложила Наталья Павловна, и в ее глазах мелькнуло то самое призывное высокомерие.

– Давайте... – согласился Кокотов, оцепеневший то ли от вина, то ли от неожиданности.

– А вы догадываетесь, Андрей Львович, из-за чего я тогда убежала?

– Из-за чего? – искренне спросил он.

– Точнее – из-за кого...

– Из-за кого?

– Из-за вас!

– Из-за меня?!

– Ну конечно... Я же была в вас влюблена! А вы даже не заметили.

– В меня?!

– В вас, в вас! Вы разве не знаете, что девочки чаще всего влюбляются в учителей... И в вожатых тоже. Но вам было не до меня. У вас сначала была эта рыжая.

– А вы-то откуда знали?

– Дети – штирлицы. Я с вас глаз не спускала.

– Ну, хорошо... – кивнул он, внутренне польщенный этим поздним признанием. – Но убежали-то зачем?

– Я видела вас с Обиходихой. Тогда, ночью.

– Что видели? – Кокотову показалось, будто он покраснел не только снаружи, но даже изнутри.

– Все! Я же следила за вами. Представляете, влюбленная девочка видит, как вы... Мне даже сейчас об этом трудно вспоминать. Ну я и побежала, как говорится, куда глаза глядят. Зарылась в стог, плакала... А что бы вы на моем месте сделали? Ладно, давайте еще выпьем! И я сознаюсь вам... Впрочем, я и так сознаюсь. Вы, Андрей Львович, были героем моих первых эротических фантазий!

– Я? – изумился герой фантазий и поежился.

– Вы, вы... Не отпирайтесь! Я ведь потом долго воображала себя на месте этой вашей... Елены... Представляла, что вы назначаете мне свиданье и делаете со мной то же самое, что и с ней. Вы помните?

– Ну, в общем, конечно... – поник писатель, чувствуя, как смущение начинает неотвратимо перерождаться в плотское томление.

– Как, кстати, сложилась ее судьба?

– Мы поженились...

– Не может быть!

– Но быстро развелись...

– Я так и думала.

- Почему?
- Не знаю. У детей удивительное чутье на совместимость. Но с возрастом это качество куда-то исчезает. А дети у вас были?
- Дочь.
- Это хорошо. Я вот несколько раз беременела от разных мужей – и все неудачно... Ничего, что я с вами так откровенна?
- Ничего.
- Понимаете, во-первых, вы писатель. А это как доктор. Во-вторых, я столько раз вообразила наши с вами свидания, что у меня такое ощущение, будто вы мой самый первый мужчина...
- И мне достались все крошки? – скокетничал Андрей Львович.
- Нет. Не достались, потому что это происходило лишь в моем воображении.
- А что же все-таки происходило в вашем воображении? – немного в нос спросил он и подался вперед, ощущая прилив хамоватого безрассудства.
- Дверь с грохотом распахнулась, и в номер ворвался Жарынин. Увидев Кокотова и Наталью Павловну за бутылкой вина, режиссер был так ошеломлен, как если бы обнаружил в комнате своего робкого соавтора белый концертный рояль, а на нем голую Пенелопу Крус...

3. Суровая мама

...Они встретились вечером у ротонды и за разговором спустились по каменным ступеням. От недвижных вечерних прудов, похожих на заполненные водой пропасти, тянуло прохладой и теми сложными запахами тайной глубинной жизни, которые становятся ощутимыми только вечером, на закате. Малиновый шар уже наполовину утонул в розовых облаках, собравшихся, как прибойная пена, у самого горизонта. Верхушки старинных лип весело золотились, заглядывая за окоем, но нижние ветви были по-ночному темны и сумрачны.

Наталья Павловна, еще минуту назад оживленная, озорная, погрузилась в задумчивость.

- У вас неприятности? – осторожно спросил Кокотов.
- Да, пожалуй...
- Вы разводитесь?
- Вам уже рассказали?
- Нет... Просто... Услышал...
- Да, развожусь. Вы ведь тоже разводились?
- Два раза.
- Один раз с этой... с Обиход. А во второй раз?
- С Вероникой.
- Опасное имя! Скорее всего, разводились не вы с ней, а она с вами. Так ведь?
- Да, она нашла себе богатого.
- Дурочка! Богатые не женятся, а заводят жен. Огромная разница! Многие понимают это, когда уже поздно. Вы все еще любите ее?
- Нет, конечно! – ответил Андрей Львович с такой решительностью, что Обоярова поглядела на него со снисходительной улыбкой.
- Не спешите! – сказала она. – Любовь как инфекция: может прятаться в каком-нибудь закоулке души или тела, в одной-единственной клеточке сердца, а потом вернуться. Страшно вернуться! Если любовь зацепилась в душе – это полбеды. А вот если в теле... Плохо, очень плохо!
- Почему? – удивился писатель.
- Потому что с душой еще можно договориться. Трудно, но можно. А с телом – никогда!

– А ваша инфекция где прячется? – беззаботно спросил Кокотов и напрягся в ожидании ответа.

– Нигде. Я никогда не любила своего последнего мужа – ни душой, ни телом. Мы были партнерами, в том числе деловыми. Мама очень хотела, чтобы я вышла за него замуж. Вы помните мою маму?

– Нет...

– Не может быть! Она же устроила в пионерском лагере грандиозный скандал на родительский день. Из-за грязного постельного белья в спальне девочек. Ну?!

И он сразу вспомнил красивую строгую женщину, совавшую в нос бедной Людмиле Ивановне скомканную нечистую простыню:

«Это что – ночлежка? Ночлежка, я вас спрашиваю? А что дальше? Вши? Дальше – вши, я вас спрашиваю?!»

«Почему вши? Завтра банный день. А ноги они перед сном не моют, не хотят!» – лепетала, оправдываясь, несчастная воспитательница.

«Что значит – не моют?! Что значит – не хотят?! Заставить!»

«Как?»

«Силой!» – крикнула женщина, ее тонкое, красивое лицо исказилось, а на скулах заиграли мужские желваки.

«Ну не бить же детей?» – спросил пионервожатый Кокотов, пряча за спину свернутую газетку.

«Мою неряху можете бить. Разрешаю!»

– Мама заставила меня выйти за Лапузина, – вздохнула Наталья Павловна. – Заместитель директора академического института, доктор наук, генетик. И как раз развелся. Я тоже... Мама сказала: «Сделай хоть раз по-моему. Не повторяй моих ошибок!» И я подумала: «Два неудачных брака, один по любви, другой по великодушию, – этого вполне достаточно!» Понимаете, мой папа был джазовым музыкантом, очень талантливым и демонически красивым. Его зажимали. Знаете, в музыкальном мире – страшные интриги. Он жутко пил и обвинял во всем, конечно, Советскую власть. В конце концов папа нас бросил, эмигрировал в Штаты и умер, развозя пиццу. Меня вырастил отчим, известный физик. Мама познакомилась с ним, когда брала у него интервью. Я сделала по-маминому... Это был мой третий брак...

Некоторое время молчали. В пруду тяжело всплескивали рыбы. Кокотов думал о том, что если бы у него была такая мама, он женился бы, не пикнув, на ком угодно.

– А первый раз – по любви? – наконец спросил Андрей Львович.

– А как же еще! Рассказать?

– Да, – кивнул он, испытывая сердцем неуместную ревность.

– О, вы хотите знать обо мне все?

– Да!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.